



Артём Веселый

Россия, кровью умытая (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2376825
Россия, кровью умытая: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-52034-3

Аннотация

Роман Артема Веселого (1899–1938) «Россия, кровью умытая» запечатлел облик революционной России, охваченной огнем Гражданской войны, в экспрессивно-орнаментальном стиле. Незабываемый образ России писателю удалось воплотить благодаря бескомпромиссной смелости, но ценою собственной жизни. После гибели писателя роман был запрещен к изданию на долгие 20 лет, «убран с библиотечных полок: какие-то экземпляры уничтожены, а какие-то уцелели и попали в так называемый спецхран». В настоящее время включен в школьную программу. В XXI веке роман издается впервые.

Содержание

Россия, кровью умытая	4
Смертию смерть поправ	4
Слово рядовому солдату	10
Пожар горит-разгорается	30
Над Кубанью-рекой	54
Черный погон	78
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Артем Веселый

Россия, кровью умытая (сборник)

Россия, кровью умытая

Смертию смерть поправ

*В России революция —
дрогнула мати
сыра земля, замутился
белый свет...*

Сотрясаемый ураганом войны, шатался мир, от крови пьян.

По морям-океанам мыкались крейсера и дредноуты, изрыгая гром и огонь. За кораблями крались подводные лодки и минные заградители, густо засеивая водные пустыни зернами смерти.

Аэропланы и цеппелины летели на запад и восток, летели на юг и север. С заоблачных высот рука летчика метала горячие головки в ульи людских скопищ, в костры городов.

По пескам Сирии и Месопотамии, по изрытым траншеями полям Шампани и Вогез ползли танки, сокрушая на своем пути все живое.

От Балтики до Черного моря и от Трапезунда до Багдада не умолкая бухали молоты войны.

Воды Рейна и Марны, Дуная и Немана были мутны от крови воюющих народов.

Бельгия, Сербия и Румыния, Галиция, Буковина и Турецкая Армения были объаты пламенем горящих деревень и городов. Дороги... По размокшим от крови и слез дорогам шли и ехали войска, артиллерия, обозы, лазареты, беженцы.

Грозен – в багровых бликах – закатывался тысяча девятьсот шестнадцатый год.

Серп войны пожинал жизни колосья.

Церкви и мечети, кирпичи и костелы были переполнены плачущими, скорбящими, стонающими, распростертыми ниц.

Катили эшелоны с хлебом, мясом, тухлыми консервами, гнилыми сапогами, пушками, снарядами... И все это фронт пожирал, изнашивал, рвал, расстреливал.

В клещах голода и холода корчились города, к самому небу неслись стоны деревень, но не умолкая грохотали военные барабаны и гневно рыкали орудия, заглушая писк гибнущих детей, вопли жен и матерей.

Горе гостило, и беды свивали гнезда в аулах Чечни и под крышей украинской хаты, в казачьей станице и в хибарках рабочих слободок. Плакала крестьянка, шагая за плугом по пашне. Плакала горожанка, уронив голову на скорбный лист, на котором – против дорогого имени – горело страшное слово: «Убит». Рыдала фламандская рыбачка, с тоскою глядячи в море, поглотившее моряка. В таборе беженцев – под телегою – рыдала галичанка над остывающим трупом дитяти. Не утихая вихрились вопли у призывных пунктов, казарм и на вокзалах Тулона, Курска, Лейпцига, Будапешта, Неаполя.

Над всем миром развевались знамена горя и, как зарево огромного пожара, стоял стон, полыхали надсадные, рвущие душу крики отчаянья...

И лишь в дворцах раззолоченных – Москвы, Парижа и Вены – сверкала музыка, пламенело пьяное веселье и ликовал разврат.

– Война до победы!

Военная знать и денежные киты дружно сдвигали бокалы с кипящим вином:

– Война до победы!

А там – на полях – огненные метлы, точно мусор, сметали в братские могилы гамбургских грузчиков и шахтеров Донбасса, кочевников Аравии и садоводов с берегов Ганга, докеров из Ливерпуля и венгерских пастухов, пролетариев разных рас, племен и наречий и пахарей, добывающих в поте лица хлеб насущный на земле отцов и дедов своих.

Кресты и могилы, могилы и кресты.

Балканы, Курдистан, Карпатские долины, чрево земли польской, форты Вердена и холмы Мааса были туго набиты солдатским мясом.

В шахтах Рура и Криворожья, в рудниках Сибири и на химических заводах Германии – на самых каторжных работах – работали военнопленные. Военнопленные томились в лагерях за колючей проволокой, кончали расчеты с жизнью под кнутом шуцмана и капрала, мерли в бараках от тоски, голода, тифа.

Лазареты... Приюты скорби, убежища страданий... Искалеченные, обмороженные, контуженые, отравленные газом – с раздробленными костями и смердящими ранами – метались в бреду на лазаретных койках и операционных столах, где кровь была перемешана с гноем, рыдания с проклятиями, стоны с молитвами за сирот и отчаянье с разбитыми в дым надеждами!

Безногие, безрукие, безглазые, глухие и немые, обезумевшие и полумертвые обивали пороги казенных канцелярий и благотворительных учреждений или, выпрашивая милостыню, ползли, ковыляли, катились в колясках по улицам Берлина и Петрограда, Марселя и Константинополя.

Страна была пьяна горем.

Тень смерти кружила над голодными городами и нищими деревнями. У девок стыли нецелованные груди, мутен и неспокоен был бабий сон. Осипшие от плача дети засыпали у пустых материнских грудей.

Война пожирала людей, хлеб, скот.

В степях поредели табуны коней и отары овец.

Сорные травы затягивали брошенные поля, бураны засыпали поваленные осенними ветрами необранные хлеба.

По дорогам поползли и поехали куда глаза глядят первые беспризорники.

Отказывала промышленность – не хватало топлива, сырья, рабочих рук, – закрывались фабрики и заводы.

Отказывал транспорт – лабазы Сибири и Туркестана были засыпаны зерном, зерно горело, но его не на чем было вывозить; в калмыцких и казахстанских степях под открытым небом были навалены горы заготовленного на армию мяса, на мясо наклевывался червь, собаки устраивали в мясе гнезда и выводили щенят.

Письма с фронта...

«Бесценная моя супруженица!

Низко тебе кланяюсь и всем сродникам кланяюсь. Я пока, слава богу, жив-здрав. Василий Рязанцев убит под турецкой крепостью Бейбурт. Иван Прохорович тяжело ранен, разнесло всю челюсть, вряд ли живым останется. Шмарога убит. Илюшка Костычев убит, сходи на хутор, скажи его матери Феоне. Со свояком Григорием Савельичем вместе ходили в бой, вырвало ему из ляжки фунта два мяса, мы ему завидуем, направили его на лечение в глубокий тыл, а к севу, глядишь, и в станицу заявится.

Один Поликашка у нас пляшет, получил новый крест и нашивки фельдфебеля, говорит: «Еще сто лет воевать буду». Ну, до первого боя, а то мы его, суку, укоротим.

Гляди, Марфинька, не вольничай там без меня, блюди честь мужнину и содержи себя в аккурате. Письмо твое я читаю каждый час и каждую минуту. Уберу лошадь, приду в землянку, лягу – читаю. Ночью растоскуется сердце, выну письмо из кармана – читаю.

Не слышно ли у вас на Кубани чего-нибудь о мире? Солдаты с горькой тоскою спрашивают друг друга: «За что мы теряем свою кровь, портим здоровье и складываем головы молодецкие в какой-то проклятой Туречине? Все это напрасно...»

К сему подписуюсь
Максим Кужель».

Слезы женщин размывали каракули присылаемых с фронта писем, и не одна трясущаяся рука ставила перед образом свечку, вымаливая спасение родным и гибнущим.

А там – на далеких полях – снегами да вьюгами крылась молодость!

В зной и стужу, по пояс в снегу и по горло в грязи солдаты наступали, солдаты отступали, жили солдаты в земляных логовах, мерзли в окопах под открытым небом. Осколки снаряда и пуля настигали фронтовика в бою, на отдыхе, во время сна, в отхожем месте. Где-то, в стенах штаба, рука генерала строчила: «Командиру Сумского стрелкового полка. Сего 5-го января в двенадцать часов пополудни приказываю силами всего полка атаковать противника на вверенном вам участке. О результатах операции донести незамедлительно». И вот в глухую полночь по окопам и землянкам перелетывала передаваемая трепетным шепотом команда: «Приготовься к атаке». Люди разбирали винтовки, подтягивали отягченные патронташами пояса. Кто торопливо крестился, кто шептал молитву, кто сквозь сцепленные зубы лил яростную матерщину. По узким ходам сообщений полк подтягивался в первую линию окопов, и по команде: «С богом, выходи!» – люди лезли на бруствер, ползли по изрытому воронками снежному полю. Встречный ливень свинца и вихрь рвущейся стали, подобно градовой туче, обрушивался на идущий в атаку полк. Под ногами гудела и стонала земля. В призрачном свете осыпающихся голубыми каскадами ракет, с искаженными ужасом лицами, ползли, бежали, падали, валились... Горячая пуля чмокнула в переносицу рыбака Остапа Калайду – и осиротела его белая хатка на берегу моря, под Таганрогом. Упал и захрипел, задержался сормовский слесарь Игнат Лысаченко – хлебнет лиха его жинка с троими малыми ребятами на руках. Юный доброволец Петя Какурин, подброшенный взрывом фугаса вместе с комьями мерзлой земли, упал в ров, как обгорелая спичка, – то-то будет радости старикам в далеком Барнауле, когда весточка о сыне долетит до них. Ткнулся головою в кочку, да так и остался лежать волжский богатырь Юхан – не махать ему больше топором и не распевать песен в лесу. Рядом с Юханом лег командир роты поручик Андриевский, – и он был кому-то дорог, и он в ласке материнской рос. Под ноги сибирского охотника Алексея Седых подкатилась шипящая граната, и весь сноп взрыва угодил ему в живот – взревел, опрокинулся навзничь Алексей Седых, раскинув бессильные руки, что когда-то раздирали медвежью пасть. Простроченные огнем пулемета, повисли в паутине колючей проволоки односельчане Карп Большой да Карп Меньшой – придет весна, синим курум задымится степь, но крепок будет сон пахарей в братской могиле... Спал штабной генерал и не слышал ни стука надломленных страхом сердец, ни стонов, оглашавших поле битвы.

Потоки огня и стали размывали материки армий.

Приказы о мобилизациях расклеивались по заборам; в деревнях – оглашались по церк-
вам и на базарных площадях.

Шли люди тяжелого труда и мелкая чиновная братия, земские врачи и учителя народ-
ных школ; шли прапора ускоренных выпусков и недоучившиеся студенты, дети полей и
городских окраин; шли ремесленники и мастера, приказчики модных магазинов и голово-
резы с большой дороги; шли бородачи – отцы семейств; шли юноши – прямо со школьных
скамей; шли здоровые, сильные, горластые; калеки возвращались на фронт, жениха война
вырывала из объятий невесты, брата разлучала с братом, у матери отнимала сына, у жены
– мужа, у детей – отца и кормильца.

Война, война...

Под рев и визг гармоней

кипели сердца

кипели голоса:

Береза ты, береза,
Зеленые прутьики,
Пожалейте нас, девчонки,
Нынче мы некрутики...

Шальные, растерзанные, орущие – ватагами – шлялись по улицам, ломали плетни и
заборы, били стекла, плясали, плакали, горланили пропавшие песни...

Медна мера загремела
Над моею головой,
Моя милка заревела
Пуще матери родной...

– Гуляй, ребята... Последние наши денечки... Гуляй, защитники царя, веры и отече-
ства!

– Царя?.. Отечества?.. Ты мне больше этих слов не говори... Я *там* был, мед и брагу
пил... Слова твои мне – все равно что собаке палка.

– Брательник, тяпнем горяшка?

– Тяпнем, брат.

Посмотрели брат на брата,
Покачали головой,
Запропали, запропали
Наши головы с тобой...

Петруха стряхнул висевшую на руке жену, разорвал гармонь надвое и, хлестнув поло-
винкой об избяной угол, пустился вприсядку.

– Всю Ерманию разроем!

– Уймись, – унимала его не видящая света жена. – Уймись, пузырек скипидарный.

Петруха из оглобель рвался:

– Ты меня не тревожь, я теперь человек казенный.

Старуха – лицо подобно гнилому ядру ореха – простирала землистые руки:

– Гришенька, дай обнять в останный разочек.

– Не горюй, бабаня, и на войне не всех убивают.

– Сердцу тошно... Гришенька, внучек ты мой жальный... Помолись на церковь-то, касатик.

– Сват, прощай!

– Час добрый.

– Война...

– Ох, не чаем и отмяться.

– Не вино меня качает, меня горюшко берет.

– А ты, Гришутка, на службе пьяным-то не напивайся, начальников слушайся...

– Будя, будя, бабаня.

Последние объятия, последние поцелуи.

И далеко за околицей – в кругу немых полей – понемногу затихали дикие песни, крики, причитания.

И долго еще за деревней, упав на сугроб, вопила старая мать:

– Последнего... Последнего... Ух... Лучше бы я камень родила, он бы дома лежал. Ух, батюшки! Алешенька, цветочек ты мой виноградный! Али без тебя у царя и народу-то бы не хватило?

Ветер хлестал черным подолом юбки, развевал выбившиеся из-под платка седые космы:

– Последнего забрали... Да он и вырасти-то не успел... Последнего! Ух, ух... Сыночки вы мои, головушки победные...

Но не слышали матери родные сыны, и лишь из дальней округи – на вой ее – воем отзывались волки.

По кубанским и донским шляхам, по большакам и проселкам рязанских и владимирских земель, по речушкам Карелии, по горным тропам Кавказа и Алтая, по глухим таежным дорогам Сибири – кругом, на тысячи верст, в жару и мороз, по грязи и в тучах пыли – шли, ехали, плыли, скакали, пробирались на линии железных дорог, в города, на призывные пункты.

В приемных – страсть и трепет, горы горя и разухабистая удаль да угарный мат.

Раздетых догола призывников о чем-то спрашивали гарнизонные писаря, наскоро щупали и слушали доктора.

– Годен. Следующий.

Призывники тащили жеребья.

– Лоб!

И сверхсрочный кадровый унтер-офицер отхватывал призывнику со лба ножницами клочок волос.

– Лоб!

На затоптанном полу валялись всех цветов волосы, которые еще вчера чья-то любящая рука гладила и причесывала.

Из приемной вылетали, будто из бани, – красные, распарившиеся, с криво нацепленными на шапки номерами жеребьев. Полными горстями хватали из-под ног и жрали грязный снег.

– Забрили... Тятяша, вынули из меня душу.

– Петрован, слышь, своего Леньку отхлопотал...

– У них, батя, карман толстый, они отхлопочут.

– Что ты будешь делать... На все воля божья... Послужи – не ты первый, не ты и последний.

– Васька, – лезет тетка через народ, – не видал ли моего Васеньку? Поглядеть на него...

– Пьянай, с ног долой... За трактиром в канаве валяется, ха-ха-ха, весь в нефти.

– Ох, горе мое... Сколько раз наказывала – не пей, Васенька... Нет, опять накушался.
– Прощай, Волга! Прощай, лес!
Казарма
скорое обучение
молебн
вокзал.

...У облупленной стенки вокзала стоял потерявший в толпе мать пятилетний хлопец в ладном полушубчике и в отцовской сползавшей на глаза шапке. Он плакал навзрыд, не переводя дыхания, плакал безутешным плачем и охрипшим, надсевшим голосом тянул:

– Тятенька, миленький... Тятенька, миленький...

Рывкнул паровоз, и у всех разом оборвались сердца.

Толпа забурилась.

Перезвякнули буфера, и эшелон медленно двинулся.

С новой силой пыхнули бабьи визги.

Крики отчаяния слились в один сплошной вопль, от которого, казалось, земля готова была расколоться.

Хлопец в полушубчике плакал все горше и горше. Лево́й рукой он взбивал падавшую на глаза отцову шапку, а правую – с зажатым в кулаке растаявшим сахарным пряником – протягивал к замелькавшим мимо вагонам и, как под ножом, все кричал да кричал:

– Тятенька, миленький... Тятенька, миленький...

Колеса отстукивали версту за верстой, перегон за перегон.

На Ригу, Полоцк

Киев и Тирасполь

Тифлис, Эривань

катали эшелоны.

Тоску по дому, по воле солдаты заливали одеколоном, политу́рой и лаком. Плясали на коротких остановках, снимались у привокзальных фотографов, в больших городах – на извозчиках – скакали в бардаки.

В Самаре и Калуге, Вологде и Смоленске, в казачьей станице и в убогой вятской деревеньке не умолкало сонное бормотанье полупьяного дьячка:

– Помяни, господи, душу усопших рабов твоих, христолюбивых воинов – Ивана, Семена, Евстафия, Петра, Матвея, Николая, Максима, Евсея, Тараса, Андрея, Дениса, Тимофея, Ивана, Пантелея, Луку, Иосифа, Павла, Корнея, Григория, Алексея, Фому, Василия, Константина, Ермолая, Никиту, Михаила, Наума, Федора, Даниила, Савватеев – помяни, господи, живот свой на поле брани положивших и венец мученический восприявших... Прими, господи, убиенных в селение праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная... Вечная память!

С православным дьячком согласно перекликался лютеранский пастор и католический ксендз, тунгусский шаман и магометанский мулла.

Над миром стлалась погребальная песнь.

Но в напоенной кровью земле зрели зерна гнева и мести.

Глухо волновался Питер, и первые камни уже летели в окна полицейских участков...

Слово рядовому солдату Максиму Кужелю

*В России революция,
вся Россия – митинг.*

Полк наш стоял на турецких фронтах, когда грянула революция и был свергнут царь Николай II.

Фронтовики диву дались.

Сперва было из старых солдат по-настоящему и не поверил никто, а разговор сквозь потянул бу-бу-бу, бу-бу-бу... Ждем-пождем, верно, приказ начальника дивизии – переворот, отречение императора от престола, тут тебе Дума, тут Временное правительство, катать, братцы, благодарственные молебны.

Рады стараться!

Горнист проиграл сбор, полк был выстроен треугольником.

– Право равняйся!.. Смирно! Шапки до-лой!

Раскурил халдей кадило, рукавами тряхнул:

– Благословен бог наш...

Солдатский волос дыбом подымается, мороз дерет по коже... Стоим, не дышим: уж больно жалостно и вроде слезу у тебя высекает.

– Миром господу помолимся...

Обкидываем себя крестным знаменiem, валимся на колени, лбами в землю бьем... «Бог ты наш, бог солдатский, нечесаный, немывтый... И куда ты, бог, твою непорочную, некачанную, неворочанную, куда ты подевался и бросил нас, как плохой пастух овец своих? Зачем ты спокинул нас на растерзанье злой судьбине и зачем ты, вшивый солдатский бог, не жалеешь нашей горькой солдатской жизни?»

Потряхивал батюшка кадилом, только космы развевались по ветру...

Повеселевшие солдаты ярко так друг на друга поглядывали и груди выправляли.

Помолились, оправились, ждем, что будет.

Выезжает перед строем дивизионный генерал – борода седая, грудь в крестах и голос навывате. Привстал он на стременах и телеграммой помахал:

– Братцы, его императорского величества, государя императора Николая Александровича у нас больше нет...

Помахал генерал телеграммкой, заплакал.

А солдаты испугались и молчали.

Один фейерверкер Пимоненко не уробел и смело развернул заранее приготовленный красный флаг:

ДОЛОЙ ЦАРЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОД!

Дух занялся!

Музыка заиграла!

Кто характером послабее, действительно заплакал. Стоим, – не знай на флаг глядеть, не знай генерала слушать...

– Братцы, старый режим окончился... Восхваление чинов отменяется... Превосходительств теперь не будет, благородий не будет... Господин генерал, господин полковник и господин взводный... Дожили до свободы, все равны... Но что бы там ни было, присягу в голове держи... Помни, братцы, Расея наша мать, мы ее дети...

Прорвалось:

– Ура!

– Ура-а!

– Ура-а-а!

Музыка все наши крики заглушила.

Платком вытер шею генерал, прокашлялся и ну до солдат:

– Помни устав, люби службу, не забывай веру, отечество... Вы есть серые орлы, честь и слава русского оружия... На ваше беззаветное геройство глядит весь мир...

Опять загремело и пошло перекатом по всему полку:

– Ура!

– Ура-а!

– Ура-ааа... Ааа... Ааааа...

– Пострадали.

– Полили крову...

– Триста лет.

– Хватит!

– Браво!

– Царя к шаху-монаху на постны щи!

Уважил нас старик словом ласковым. Сустари веков с нижним чином толстой палкой разговаривали, а тут эка выворотил его превосходительство – хоть стой, хоть падай – все равны, слава, серые орлы... Разбередил он сердце, разволновал солдатскую кровь, принялись мы еще шибче «ура» кричать, а которые из молодых офицеров береженько стащили генерала с коня и давай его качать.

Хватил полковой оркестр.

Отдышался старик, бороду разгладил и с молодцеватой выправкой, легко так, на носках, подошел к строю:

– Поцелуемся, братец!

И на глазах у всех дивизионный генерал расцеловал правофлангового первой роты, рядового нашего солдата Алексея Митрохина.

Полк ахнул.

Мы стояли как каменные и только тут поверили по-настоящему, что старый режим кончился и народилась молодая свобода в полной форме.

Шеренги дрогнули, перемешались все в одну кучу... Кто плачет, кто целуется. Казалось, все готовы идти заодно – и солдаты, и офицеры, и писаря, – лишь один сверхсрочный кадровый фельдфебель Фоменко слушал нас, слушал, пыхтел-пыхтел, но все-таки, негодяй, курносая собака, не подчинился, вытаращил глаза и давай орать во всю рожу:

– Неправда!.. Царь у нас есть и Бог есть!.. Его императорское величество был и будет всегда, ныне и присно и во веки веков!.. С нами Бог и крестная сила! – Он перекрестился, густо сплюнул и, размахивая руками вперед до пряжки и назад до отказа, учебным шагом пошел прочь, барабанная шкура.

Не до него нам было.

До самой ночи говорили ораторы, говорили начальники, говорили и солдаты, путаясь языком в зубах.

Все были как пьяные.

Принял полк присягу с росписью, целовал крест, дал революционную клятву Временному правительству.

Дело, помню, Великим постом делалось.

Распустили мы над окопами красный флаг: войне – киты!

Живем месяц, живем другой, проводили Святую неделю, Троицын день, войны и не было, а доброго не виделось. Ровно медведи, валялись по землянкам, укатывали боками глиняные нары, положенные часы выстаивали на караулах, ходили в дозоры, на всякой расхожей

работе хрип гнули и неумной тоской заливались по дому своему. Как и при старом режиме, вошь точила шкуру, тоска хрулила кости, а рядовые ничего не знали и по-прежнему, помня полевой устав, терпели голод, холод и несли фронтовую службу.

Цейхгауз дивизионный по случаю революции растащили мы дочиста. Мне шпагату четыре мотка досталось, подсумки холщовые: нестоящее барахлишко, а домой, думаю, вернусь – пригодится. Двое полтавских из девятой роты полковой денежный ящик утащили; и как им, дьяволам, нечистая сила помогла, вовек не додуматься: весу тот ящик пудов десять, а то и все пятьдесят.

Комитеты кругом, в комитетах споры-разговоры...

В каждом полку комитет, в каждой роте комитет, в корпусе будто комитет был, да что там – каждый нижний чин и тот сам себе комитет, только бы глотка гремела. У меня, не в похвальбу будь сказано, смекалка не на палке – фронт научил, и два Георгия в грудь не задарма влеплены. Вторая рота в голос порешила:

– Будь ты, Максим Кужель, товарищ неизменный, будь нашим депутатом и мозолистыми руками поддерживай наш солдатский интерес.

То ли от страха, то ли от радости руки у меня дрожат – папироску сворачиваю, – однако виду не подаю и, закурив, отвечаю:

– Служил царю, послужу и псарю... Малоученый я, но не робею и за солдата душу отдам.

– Крой, Кужель.

– В обиду не дадим.

– Верой и правдой чтоб.

Закрутил я ус кренделем – и в комитет.

На привольном воздухе комитет, в офицерской палатке. Бывало, до этой палатки четырех шагов не дойдешь – стоп! Вытянешься – того гляди, шкура лопнет: «Гав, гав, гав, разрешите войти!» Теперь, шалишь, кому захотелось – и лезь в комитет, как в дом родной. Заходит серый и с офицером за ручку: «Как спать изволили?», а то еще того чище: развалится серый, будто султан-паша, закурит табачок турецкий и под самый офицеров нос дым этак хладнокровно пускает, а он, его благородие, вроде и не чует.

И смешно, и дивно...

Вернусь в роту, расскажу-размажу, гогочут ребята, ровно жеребцы стоялые, и вздыхают свободно.

Дальше – больше, о доме разговоры пошли.

– Скоро ли?

– Да как?

– Пора бы...

– Сиди тут, как проклятый.

– Покинуты, заброшены...

– Защитники, скотинка бессловесная.

Солдатская секция и в комитете нет-нет да и подсунет словцо:

– Как там?

– Ждите, братцы. Газеты пишут, скоро-де немцам алла верды, тогда замирение выйдет, и мы, как всесветные герои, мирно разъедемся по домам родины своей.

– Три года, ваше благородие, газеты рай сулят, а толку черт ма.

– Помни долг службы.

– Больно долг долг-то, конца ему не видать.

– Много ждали, немного надо подождать.

Тут у нас разговор глубже зарывался.

– Не довольно ли, ваше благородие, буржуазов потешать? Наше горе им в смех да в радость.

– За богом молитва, за родиной служба не пропадет.

– Надоели нам эти песни. Воевать солдат больше не хочет. Довольно. Домой.

Начальники свое:

– Расея наша мать.

Мы:

– Домой.

Они знай долдонят:

– Геройство, лавры, долг...

А мы:

– Домой.

Они:

– Честь русского оружия.

Мы в упор:

– Хрен с ней, и с честью-то, – говорим, – домой, домой и домой!

– Присягу давали?

– Эх, крыть нам нечем, верно, давали... – И какая стерва выдумала эту самую присягу на нашу погибель?

Оно хотя крыть и нечем, а к офицерству стали мы маленько остывать.

С горя, с досады удумали с соседними частями связаться. Набралось нас сколько-то товарищей, приходим в 132-й Стрелковый. Жарко, тошно. Солдаты и тут в нижних рубашках, распояской гуляют, а которые босиком и без фуражек.

– Где у вас комитет, землячок?

– Купаться ушли, а председатель в штабе дежурит.

Вваливаемся в штаб.

Председатель комитета, Ян Серомах, с засученными по локоть рукавами, брился стеклом перед облупленным зеркальцем, стекло о кирпич точил.

– Рассказывай, председатель, какие у вас дела?

– Дела, – говорит, – маковые...

И так и далее катили мы веселый солдатский разговор, пока Серомах не выбрился. Оставшийся жеребик стекла он завернул в тряпицу, сунул в щель в стене и, обмыв чисто выскобленные скулы, поздоровался с нами за руки:

– Ну, служивые, вижу, вы народы свои, народы тертые, не дадите спуску ни малым бесенятам, ни самому черту... Гайда в землянку, чаем угощу.

Чаяк, заваренный ржаными корками, пили мы вприкуску, с сушеной дикой ягодой, а ягоду Серомах насобирает, в разведку ходючи, и председатель рассказывал нам, как они своего полкового командира за его паскудное изуверство перевели на кухню кашеваром; как послали в корпусной комитет депутацию с требованием отвести полк в тыл на отдых; как на полковом митинге постановили чин-званье солдатское носить и фронт держать, пока терпенья хватает, а то срываться всем миром-собором и гайда по домам.

– По домам так вместе, – говорим, – и мы тут зимовать не думаем.

– Что верно, то верно: ордой и в аду веселей.

Провожал нас Серомах, опять шутил:

– Жизнь, братцы, пришла бекова: есть у нас свобода, есть Херенский, а греть нам некого...

Всю дорогу ржали, Серомаха вспоминаячи.

Живем и пятый, и десятый месяц, а конца своему мученью не видим.

Выползешь вечером из землянки – лес, горы, колючка – убогий край... То ли у нас на Кубани! Там тихие реки текут, шелковы травы растут, там – степь! Да такая степь – ни глазом ты ее, ни умом не обнимешь...

Сидишь так-то, пригорюнишься...

С турецкой стороны ветер доносит молитву муэдзина:

– Аллах вар... Аллах сахих... Аллах рахмаи, рахим... Ля илаха ил-ла-л-лаху... Ве Мухаммед ресулу-л-ляхи...

От скуки в гости к туркам лазили и к себе их таскали, борщом кормили, батыжничали. Черные, копченые, ровно в бане век не мылись, глядеть на них с непривычки тошно. Табаку притащут, сыру козьего. Сидим, бывало, летним бытом на траве, курим и руками этак разговариваем:

– Кардаш, домой хочется? – спросит русский.

– Чох, истер чох! – Зубы оскалят, башками качают, значит, больно хочется.

– Чего же сидим тут, друг дружку караулим?.. Будя, поиграли, расходиться пора... *Наи* прыгнул с трона, и вы *своего* толкайте.

Опять залопочут, зубы оскалят, башками бритыми мотают и глаза зашурят, а русский понимает – и им, чумазым, война не в масть, и ихнего брата офицер водит, как рыбу на удочке.

– Яман офицер? Секим башка?

– Уу, чакыр яман.

– Собака юзбаши?

– Кцпек юзбаши... Яман... Бизым карным хер вакыт адждыр.

Разговариваем однажды так, а верхом на пушке сидит портняжка Макарка Сычев. Таскает он из-за пазухи вшей, иголкой их на шпулишную нитку цепочкой насаживает и покривает:

– Беговая... Рысистая... С поросенка!

Русские ржали, ржали и турки. В тот вечер у них праздник уруч-байрам был, прикатали они кислого виноградного вина бочонок, барашка приволокли. Барашка на горячие угли, бочонок в круг, плясунов, песенников на кон, и пошло у нас веселье: ни горело, ни болело, ровно и не лютовали никогда.

Подманил лихой портняжка одного Османа, лапу ему в ширинку запустил и за хвост, на ощупь, вытаскивает действительно вошь. Пустил ее в пару со своей в разгулку на ладонь и спрашивает Османа:

– Видишь?

– Вижу.

– Твоя насекомая и моя насекомая, моя крещеная, твоя басурманка... Угадай, какой они породы?

– Обе солдатской породы, – отвечает Осман на турецком языке. – Хэп сибир аскерлы...

– Верно! – орет Макарка Сычев. – За что же нам друг на друга злобу калить и зачем неповинную крову лить?.. Не одна ли нас вошь ест и не одну ли мы гложем корку хлеба?

– Кардаш, чох яхши, чох! – закричали турки, а посмеявшись той шутке, все принялись господ офицеров поносить. И как они смеют прятать от солдата свободу в кошельке?

Слушали мы и песни турецкие, и на один, и на два голоса, и хоровые. Ничего, душевные песни, а в пляске, я так думаю, за русским солдатом ни одна держава не угонится. Вышел наш Остап Дуда, штаны подтянул, сбил папаху на ухо, развернул плечо – ходу дай! Балалайки как хватают, Остап как топнет-топнет: земля стонет-рыдает, и сердце кличет родную дальнюю сторонushку...

Собрались как-то и мы целым взводом к туркам в гости.

Приходим.

– Салям алейкум.

– Сатраствуй, сатраствуй.

Оборванные, голодные, греются на солнышке, микробов ловят.

– Приятель, чего поймал? – спрашивает русский.

– Блох.

– Как блоху? Воша.

– Блох.

– Почему белый?

– Маладой.

– Почему не прыгает?

– Глюпый.

Смеемся, курим, о том и о сем разговариваем. По харям видно – и им до смерти домой хочется, а домой не пускают.

– Яман дела?

– Яман, яман...

Землянки турецкие еще хуже наших. Бревна не взакрой накатаны, как у русских принято, а торчат козлами, а иные логова из камня-плитняка сложены, пазы глиной и верблюжьими говьяхами заделаны, по стенам плесень и грибы растут – в берлоге такой ни встать, ни лежа вытянуться. В офицерских землянках и чисто, и сухо – полы мелким морским песком усыпаны, тут тебе цветы, тут ковры и подушки горами навалены, – этим терпеть можно, эти еще сто лет провоюют и не охнут.

Наменяли мы на кукурузный хлеб сыру козьего, табаку, мыла духового; один из наших ухвертов умудрился – офицеровы сафьяновые сапожки спер, и поползли мы назад.

Доходим до своей позиции и видим пробуждение: полчане бегут, на ходу шинелишки напяливая; полковой пес Балкан тявкает и скачет как угорелый; музыканты барабаны и трубы ташат.

– Куда вы?

– В штаб дивизии.

– Чего там?

– Бежи все до одного... Комиссия приехала.

– Не насчет ли мира?

– Все может быть.

– А окопы, наша передовая линия?

– Нехай Балкан караулит.

До штаба дивизии восемь верст.

Бежим, пятки горят.

– Мир.

– Домой...

– Дай ты господи.

Довалились, языки повысунувши.

Народу набежало, народу...

Полковые знамена и красные флаги выются, оркестры играют «Марсельезу».

– Кто приехал?

– Штатская комиссия по выборам в учредилку.

– Слава богу.

– Потихе, потихе...

Проскакал дивизионный, и полки замерли.

Вот чего-то прогугнул батя, но нам слушать его неинтересно.

Вылезает один, в суконной поддевке, снял шапку бобровую и давай на все стороны кланяться:

– Граждане солдаты и дорогие братья... Низкий поклон вам от свободной родины, от великой матери-Росеи!

Закричала от радости вся дивизия, задрожали земля и небо.

Оратор тот знай повертывается да волосами потряхивает... Слушали его передние сотни, а задние – тысячи – по маханию рук старались догадаться, о чем он говорит.

До нашей роты хоть и не каждое слово, а долетало:

– ...Граждане солдаты... Геройское племя... Государственная дума... Защита прав человека... Углубление революции... Революция... Фронт... Революция... Тыл... Наши доблестные союзники... Старая дисциплина... Слуги старого строя... Сознательный солдат... Партия социалистов-революционеров... Свобода, равенство, братство... Своею собственной рукой... Еще один удар... Революция... Контрреволюция... Война до полной победы... Ура!

Дивизию как бурей качнуло:

– Ура!

– А-а-а-а...

– Аа-а-а-а-а...

Иной, не поняв ни аза, кричал так, что жилы на лбу вздувались; иной потому кричал, что другие кричали: была приучена дивизия к единому удару; а иной просто тому радовался, что видел живых расейских людей, – и об нас, мол, не забывают.

В политике в те поры рядовые мало разбирались. Нам всякая партия была хороша, которая докинула бы до солдата ласковым словом да которая пригрела бы его, несчастного, на своей груди.

Мы с членом комитета Остапом Дудой кричали «ура» вместе со всеми, а потом поглядели друг на друга и задумались...

– «Война до победы», – говорю, – таковые слова для нас хуже отравы.

Остап Дуда скрипнул зубами:

– Как бы они нас красиво ни призывали, воевать больше не будем.

– Где тут солдату просветление, ежели нас на своих же офицеров натравливают? – Это говорит позади меня отделенный Павлюченко. – Сами мы их ругаем, а ты, тыловая вошь, не кусай. Они хоть и не больно хороши, а с нами вместе всю войну прошли, одним сухарем давились, под одну проволоку ползали, одна нас била пуля. Немало их, как и нас, серых, закопано в землю, немало калеченых по лазаретам валяется...

Кругом заговорили:

– Правильно.

– Неправильно.

– Долой белогорликов.

Оборачивается к Павлюченке Остап Дуда и головой невесело качает:

– Эх ты, Петрушка балаганный, верещишь незнамо что... Нашел кого жалеть! Нам офицеров жалеть не приходится, большинство из них воюет по доброй воле да нас же в три кнута гонят в наступление... Интенданты, что заглатывают солдатские деньги, есть наши первые враги. Называют тебя свободным гражданином и заставляют служить без курева за семьдесят пять копеек в месяц, а корпусной генерал, по словам писарей, получает три тысячи рублей в месяц. Эти генералы есть тоже наши первые враги... Туркам наша свобода не вредит, не в нос она тем, кто сидит на мягких диванах... Поехал я летом в отпуск в Тифлис. Жара-духота свыше сорока градусов. Хожу по улицам в зимней папахе и в зимних шароварах. А буржуи катаются на извозчиках, одеты в шелка и бархат, обвешаны бриллиантами и золотом... Офицеры в духанах сидят, кителя расстегнули – курят сигары, тянут винцо и ля-

ля-а, ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля, ля-а-ля-ля-ля... Это не сказка, можете поехать в город Тифлис и сами все рассмотреть. Время положить ихнему блаженству конец!

Говорили штатские депутаты и наши офицеры, говорил начальник дивизии и какой-то комиссар фронта. Какие они правильные слова ни выражали, нам казались все до одного неправильными; сколько они солдату масла на голову ни капали, мы кричали – деготь; сколько они нас ни умягчали, мы несли свое:

– Монахов на фронт!

– Фабрикантов на фронт!

– Помещиков на фронт!

– Полицейских на фронт!

Кто-то кричит:

– Куда девали царя Николашку?

В суконной поддевке отвечает:

– Мы его судить думаем.

– Долго думаете. Ему суд короток. Царя и всю его свору надо судить в двадцать четыре часа, как они нас судили.

– Пускай пришлют сюда жандармов и помещиков, – смеется фейерверкер Пимоненко, – мы их сами разорвем и до турок не допустим.

– Сказани-ка, Остап, про Тифлис, про кошек серых...

– Сказани... Мы их слушали, нехай нас послушают...

Остап Дуда встал ногами к нам на плечи и давай поливать. А глотка у него здорова, далеко было слышно...

– Господа депутаты, – звонко кричит Остап Дуда, – вы страдали по тюрьмам и каторгам, за что и благодарим. Вы, борцы, побороли кровавого царя Николку – кланяемся вам земно и благодарим, и вечно будем благодарить, и детям, и внукам, и правнукам прикажем, чтобы благодарили... Вы за нас старались, ни жизнью, ни здоровьем своим не щадили, гибли в тюрьмах и шахтах сырых, как в песне поется. Просим – еще постарайтесь, развяжите нам руки от кандалов войны и выведите нас с грязной дороги на большую дорогу... На каторге вам не сладко было? А нам тут хуже всякой каторги... Нас три брата, все трое пошли на службу. Один поехал домой без ноги, другого наповал убило. Мне двадцать пять лет, а я не стою столетнего старика: ноги сводит, спину гнет, вся кровь во мне сгнила... Поглядите, господа депутаты, – показал он кругом, – поглядите и запомните: эти горы и доли напоены нашей кровью... Просим мы вас первым долгом поломать войну; вторым долгом – прибавить жалованья; третьим долгом – улучшить пищу. Низко кланяемся и просим вас, господа депутаты, утереть слезы нашим женам и детям. Вы даете приказ: «Наступать!» – а из дому пишут: «Приезжайте, родимые, поскорее, сидим голодные». Кого же нам слушать и о чем думать – о наступлении или о семьях, которые четвертый год не видят досыта хлеба? Разве вас затем прислали, чтоб уговаривать нас снова и снова проливать кровь? Снарядов нехваток, пулеметов нехваток, победы нам не видать как своих ушей, а только растревожим неприятеля, и опять откроется война. Нас тут побьют, семьи в тылу с голоду передохнут... Генералы живы-здоровы, буржуи утопают в пышных цветах, царь Николашка живет-поживает, а нас гоните на убой?.. Выходим мы из терпенья, вот-вот подчинимся своей свободной воле, и тогда – держись, Расея... Бросим фронт и целыми дивизиями, корпусами двинемся громить тылы... Мы придем к вам в кабинеты и всех вас, партийных министров и беспартийных социалистов, возьмем на кончик штыка!.. Чего я не так сказал – не обижайтесь, товарищи, наболело... Кончайте войну скорее и скорее!..

Мы:

– Ура, ура, ура...

Депутаты пошептались, наскоро разъяснили нам, за кого голосовать, и – в автомобиль, и – дралала...

А мы вдогонку ревим:

– Ми-и-и-и-ир!

Полк наш три дня кряду голосовал прямым и равным, тайным и всеобщим голосованием. Листками избирательными набили урну внабой. Почетный караул к урне приставили и порешили, как было приказано высшим начальством, хранить наши голоса в полковом комитете впредь до особого распоряжения.

Живем, о мире ни гугу.

Офицеры из России газеты получали, но нам ничего не рассказывали: все равно, мол, рядовой, баранья башка, речь министрову не поймет.

Письма с родины доходили на фронт редко. Читались письма принародно, как манифесты. Семейные обстоятельства наши были одинаковы. Доводили до нас родные сведения о своей невеселой житухе. Мы на фронте страдаем, они в тылу страдают. Наслушаешься этих писем, злоба в тебе по всем жилам течет, а на кого лютовать – и не придумаешь толком. Еще пуще разбирает охота поскорее домой воротиться, хозяйство и семью посмотреть.

Так и жили, томились, ждали какого-то приказа о всеобщей демобилизации, на занятия не выходили, работой себя не донимали, в карты играть надоело, а курить было нечего.

Проведала братва, будто в городе Трапезунде на митингах насчет отпусков до точности разъясняют. Полковой комитет вызывает охотников. Выкликнулись мы трое – Остап Дуда, пулеметчик Сабаров да я – и пошли в Трапезунд на разведку.

Время мокрое, грязь по нижню губу, сто верст с гаком перли мы без отдыха – на митинг боялись опоздать. Напрасны были опасенья, митингов не переглядеть, не переслушать – и на базарах, и в духанах, и на каждом углу по митингу.

На митинге нам открылась секретная картина:

– Бей буржуев, долой войну.

Справедливые слова!

Меня аж затрясло от злости, а по набрякшему сердцу ровно ржавым ножом порснуло.

– Нечего, – говорю, – ребята, время зря терять: сколько ни слушай, лучшего не услышишь. Всем свобода, всем дано вольным дыхом дышать, а ты, серая шкурка, сиди в гнилых окопах да зубами щелкай. Снимемся всем полком – и прощай, Макар, ноги озябли.

Товарищи меня держат:

– Постой, Максим, погоди.

– Треба нам, как добрым людям, почайничать и перекусить малость.

– Будь по-вашему, – говорю.

Заходим в духан, солдат полно.

Кто кушает чай, кто – чебуреки, а кто и хлебец, по старой привычке, убивает. Есть деньги – платят, а нет – покушает, утрется и пойдет. Известно, служба солдатская не из легких, а жалованье кошачье. В конце семнадцатого года стали семь с полтиной получать, а бывало, огребет служивый за месяц три четвертака, не знай – ваксы купить, не знай – табачку, последняя рубашка с плеча ползет, вошь на тебе верхом сидит, шильце-мыльце нужно. Туда-сюда и пляшет защитник веры, царя и отечества, как карась на горячей сковороде. Карман не позволяет солдату быть благородным.

Разговоры кругом, от разговоров ухо вянет.

– Какая в России власть?

– Нету в России власти.

– Дума? Наше Временное правительство?

– Всех наших правителей оптом и в розницу подкупила буржуазия.

– А Керенский?

– Так его ж никто не слушает.

Большевиков ругают, продали родину немцам за вагон золота. Кобеля Гришку Распутина кроют, как он, стервец, не заступился за солдата. Государя императора космыряют, только пух из него летит.

Один подвыпивший ефрейторишка шумит:

– Бить их всех подряд: и большевиков, и меньшевиков, и буржуазию золотобрюхую! Солдат страдал, солдат умирал, солдаты должны забрать всю власть до последней копейки и разделить промежду себя поровну!

Горячо говорил, курвин сын, а насосавшись чаю, шашку в серебре у терского казака слизнул и скрылся.

– Расея без власти сирота.

– Не горюй, землячок, были бы бока, а палка найдется...

– Дивно.

– Самое дивное еще впереди.

– Где же та голова, что главнее всех голов?

– Всякая голова сама себе главная.

– А Учредительное собрание?

– Крест на учредилку! – смеется из-под черной папахи сибирский стрелок. Выбирает он из обшлага бумагу и подает нам. – Теперь мы сами с усами, язви ее душу. Читай, землячки, читай вслух, я весь тут перед вами со всеми потрохами: Сибирского полка, Каторжного батальона, Обуховой команды...

Бумагу – мандат – выдал ему ротный комитет, каковой ротный комитет в боевом порядке направо и налево предписывал: во-первых, революционного солдата Ивана Савостьянова с Турецкого фронта до места родины, Иркутской губернии, перевезти за счет республики самым экстренным поездом; во-вторых, на всех промежуточных станциях этапным комендантам предсказывалось снабжать означенного Ивана всеми видами приварочного и чайного довольствия; в-третьих, как он есть злой охотник, разрешалось ему провезти на родину пять пудов боевых патронов и винтовку; в-четвертых, в-пятых и в-десятых – кругом ему льготы, кругом выгоды!

Мандат – во! – полдня читать надо.

– Где взял? – стали мы его допытывать.

– Где взял, там нет.

– Все-таки?

– Угадайте.

Нам завидно, навалились на сибиряка целой оравой – и давай его тормошить: скажи да скажи.

– За трешницу у ротного писаря купил.

– Ну-у?

– Святая икона, – сказал он и засмеялся... Да как, сукин сын, засмеялся... У нас ровно кошки вот тут заскребли.

Выпадет же человеку счастье...

Спрятал Иван Савостьянов мандат в рукав, мешок с патронами на плечи взвалил, гордо так посмотрел на нас и пошел на самый экстренный поезд.

В городе Трапезунде встретил я казака Якова Блинова – станишник и кум, два раза родня. В бывалошное время дружбы горячий мы не важили, был он природный казак и на меня, мужика, косился, а тут обрадовались друг другу крепко.

– Здорово, Яков Федорович.

– Здорово, служба.

Обнялись, поцеловались.

– Далече?

– До дому.

– Какими судьбами?

– Клянусь богом, до дому, – говорит.

– Приказ...

– Я сам себе приказ.

– Ври толще?

– Верно говорю.

– Как так?

– Так.

– Да как же оно так?

– Этак, – смеется.

Оружие фронтовое на нем, ковровые чучалы и домашнее – под серебром – чернью травленное седло на горбу.

– Катанем, Максим, на родную Кубань, до скусных вареников, до зеленого степу, до удалых баб наших. Провались война, пропади пропадом, проклятая сатана, надоела.

– Так-то ли, Яша, надоела, сердце кровью заплывило, а как поедешь? Не с печи на полати скакнуть.

– Э-э, сядем да поедем... Все едут, все бегут... И наш четвертый пластунский батальон фронт бросил. Довалились мы сюда, водоход заарестовали, к вечеру погрузимся и – машинист, крути машину, станови на ход!

Вижу, правильно – ветер по морю чубы закручивает, и водоход у пристани Якова ждет.

Расступился в мыслях я – ехать или нет?.. Полчан маленько совестно – меня, как быт-ного, послали, а я убегу?.. И шпагат, признаться, жалко.

– Нет, Яша, не рука.

– Напрасно.

– Мало ли чего... У нас в роду никто дезертиром не был. Дедушка Никита двадцать пять лет служил, да не бегал.

– О том, кум, что было при царе Косаре, поминать нечего. А со мной не едешь зря, попомни мое слово, – зря.

– Поклонись сторонушке родимой... Марфу мою повидай, сродников. Отвали им поклонов беремя. Пускай не убиваются, скоро вернусь. Порадуй мою: боев на фронте больше нет; кто остался жив, тот будет жить. А еще накажи Марфе строго-настрого, чтоб дом блюла и последнего коня не продавала. Вернусь ко дворам, пригодится конь.

Яков меня и слушает и не слушает, ус крутит, усмехается:

– Ставь бутылку, научу с фронтом распрощаться, а то еще долгонько будешь петь: «Чубарики-чубчики...»

– Ты научишь в обруч прыгать...

– Говорю не шутя.

– Учи давай, за бутылкой я не постою, бутылку поставлю.

– Подписывайтесь всем полком в большевики и езжайте с богом кто куда хочет.

Слова станишника мне вроде в насмешку показались, спрашиваю:

– Слыхал, про большевиков-то чего гуторят?.. Продали, слышь?..

– Брехня.

– Ой ли?

– Собака и на владыку лает.

– Что ж они такие за большевики?

– Партия – долой войну, мир без никаких контрибуций. Подходящая для нас партия.

- Так ли, кум?
- Свято дело сватово.
- Ты и сам большевик?
- Эге.
- Значит, домой?
- Прямой путь, легкий ветер.

Заныло сердце во мне...

Укатит, думаю, казак на родину, а мне опять сто верст с гаком по грязи ноги вихать, опять постылые окопы... Но тут вспомнил я роту свою и товарищей своих, с которыми не раз отбивался от самой смерти... С твердостью говорю:

– Нет, Яша, не рука. К Рождеству ожидай и меня, режь кабана пожирнее, вари самогон попьянее, гостевать приду.

– Долга песня.

Роспили мы с ним в духане бутылку вина, пошли к морю. Казак рассказывал мне про свою службу:

– Две зимы наш батальон под Эрзерумом черные тропы топтал... Две зимы казаченьки голодовали, холодовали, призывали бога и кляли его, вослед нам ложились могилы и кресты... Вспомнишь о доме: земли у тебя глазом не окинешь; скотины полон двор; птица не считана; жена, как солнышком умыта, под окошечком скушает, тягостные слезы льет... А ты – горе, кручина, чужая сторона – торчи в проклятой во Туречине, томись смертной истомой да свищи в кулак... Улыбнулась из-за гор свобода, все петли и узлы полопались, потянуло нас домой... Так потянуло, терпенья нет. Был у нас в батальоне один такой политический казачок – книгоед, вот он и говорит: «Так и так, братцы, пора и нам опаматоваться». Подумали мы думушку казачью, погадали про свою долю собачью и решили всем батальоном к большевикам перекачнуться.

- Хваты-братья.
- И я то же говорю.
- Ну и ну да луку мешок.

Порт кишел солдатами, солдат в порту как мошкары.

На каждом винтовка, котелок и фляга бренчит. С шумом и гамом толпами валили все новые и новые из города и с пригороду, топтали друг друга, ревели как бугаи, лезли – пристанские мостки под ними провисали, – всяк свое орал, всяк рвался на водоход попасть, на водоходе местов не было: на самой трубе и то человек с десять торчало.

С крыши пристанской конторы говорил речь какой-то приехавший из Новороссийска юнкер Яковлев – шапка с позументом заломлена набекрень, солдатская шинель нараспашку. Он ругал буржуев и хвалил большевиков; самыми последними словами клял Временное правительство и восхвалял большевицкие совдепы; призывал записываться в Красную гвардию и уговаривал продавать лишнее оружие какому-то военному комитету.

Кто к его голосу прислушивался и останавливался, кто мимо шел.

Обмотал кум бинтом здоровую руку и кричит:

– Расступись, вшивая команда, пропускай раненого.

Расступались солдаты, казаку дорогу давали. Пробрался он на водоход и с борта папашой мне помахал:

- Прощай, Максим, ты все-таки подумай.
- Думала баба над корытом...

Рявкнул водоход, встряхнулся и поплыл – поплыл, как гусь белый.

Те, что остались на берегу, готовы были с досады землю жрать, матерились в креста, бога, печенку и селезенку.

А водоход

дальше
дальше
и чу-у-у-уть слышно:

Из далеких стран полуденных,
Из турецкой стороны
Шлем поклон тебе, родимая,
Твои верные сыны...

Принялся я своих товарищей уговаривать не терять время попусту, скорее до полка возвращаться. Рассказал о встрече с Яковом Блиновым, о его казацкой хитрости и ухватке молодецкой.

Стояли мы так, мирно беседовали. Ночь поднималась над городом и над морем, по улицам мотались солдаты и, не боясь угодить в маршевую роту, во всю рожу запеснячивали песни расейские. А потом слышим, пошло: «Ура, караул, алла-алла!» На базаре артиллеристы кинулись азиатов бить, лавки и магазины ихние поразвалили, товаришко всякий в открытом виде валяется, любую вещь нарасхват бери.

Пулеметчик Сабаров отбил от нас и остался в городе, а мы с Остапом Дудой закурили и зашагали обратно на позицию.

Слушать нас сбежался весь полк.

Полчане стояли тесно – плечо в плечо и голова в голову.

Взлезаю на повозку, говорю на полный голос, чтоб до каждого достало:

– Фронтовики... Кровь родная... Скажу я вам, какая в Трапезунде открылась нам секретная картина.

Над целым полком стою.

Тыща глаз ковыряют меня, тыща плечей подпирают меня... Не чую я ни ног под собой, ни головы над собой... Ровно пьяный, легко раскидываю кулаки и по чистой совести раскрываю похождение наше в Трапезунд – кого видали, чего слыхали, за какие грехи роняем крову свою, в чем тут фокус и в чем секрет...

Семь потов, как семь овчин, спустило с меня, пока говорил.

Кто кричит – правильно, кто – верно, а кто со злости только мычит.

Меня так и подмывало еще говорить и говорить, пока самый захудалый солдат поймет, в чем тут загвоздка и в чем же суть дела.

Остап Дуда тоже остервенел: весь так и выверился, подкатило человеку под само некуды... Оттолкнул меня и кричит Остап Дуда:

– Расея... Що це таке воно за Расея?.. Расея есть притон буржуазии... Кончай войну! Бросай оружие!

Солдатская глотка – жерло пушечье.

Тыща глоток – тыща пушек.

Из каждой глотки – вой и рев:

– Окопались...

– Хаба-ба...

– Говори, еще говори.

– Измучены, истерзаны...

– Воюй, кому жить надоело.

– Триста семь лет терпели.

– Долой войну!

– Бросай оружие!

– Домой!

Долго над полком сшибались крики, как бомбы рвались матюки, потом тише
тише
и замолчали.
Оглянулся я.
Оглянулся Остап Дуда.

Стоит позади нас на повозке, как смерть постылая, Половцев – полковой наш командир... Ус дергает, пыльно так на нас глядит, и вся его морда лаптами горит.

Полк боялся Половцева за крутой характер – боек его благородие был на руку – и любил своего командира за храбрость его офицерскую. Мало из них отчаюг выдавалось, чаще всего на солдатской шкуре выбивали марши победные, ну, а этот с полком всю службу вместе проходил. Под Эзерджаном сам впереди цепи два раза в штыковую атаку ходил и турок брушил саморучно; пуля просадила ему плечо, другая зацепила ногу, но он не пожелал в тыл отлучаться и лечился в походном лазарете при своей части. Любитель был Половцев и в разведку ходить, под Мамахутуном привел двух курдов в плен совсем с конями.

– Солдаты! – гаркнул командир, но никто не показал ему глаз своих, и никто, как в бывалошное время, не поднял головы на призыв его. – Солдаты, где ваша совесть, где ваша честь и где ваша храбрость?

А мы уж и сами не рады былой храбрости своей. Стоим, глаза в землю уперев.

Принялся командир говорить про недавнюю доблесть полка, про долг службы и завел такую волюнку – слушать прискорбно – родина, пучина позора, всемирная борьба, харчимарчи, чофа хата и так далее...

Тяжело обвисли головушки солдатские...

Он свое говорит, мы свое думаем... Кто в ширинке скребет, кто – за пазухой.

Как-то нечаянно, искоса, глянул я на волосатый начальников кулак, заткнутый пальцем за пояс, и сразу забыл и храбрость его хваленую, и молодечество, другое в башку полезло...

Был у нас в роте, когда еще в тылу болтались, вятский парень Ваня Худоумов. Солдаты по дурости еще дразнили его: «Ваньке, спугни воробья-тё, сел на мачту, баржа-тё потонет», – растяпистый да охалистый парень, беда. И под ружьем с полной выкладкой в семьдесят два фунта часами выстаивал; на хлеб, на воду его сажали; гусиным шагом гоняли; бою вынес бессечно, а все не мог постигнуть немудрую солдатскую науку и часто забывал, какая нога у него правая, какая левая. «Ать, два, три!.. Ногу дай!.. Маши руками!» – такая игрушка, бывало, с утра до ночи. Кружились роты по казарменному двору, ровно ошалелые. Пурга засаривала глаза, мороз руки крючил, но разбираться с этим не приходилось. Хуже всего, когда ротный – тогда Половцев еще ротным был – бывал не в духе. На ком ему, его высокоблагородию, как не на солдате, злость сорвать? Бей ты его, терзай ты его, рук не отведет. Подлетит ротный к строю и давай кулаком в зубы бодрить: «Голову выше! Брюхо убери! Гляди веселей!» В такой недобрый час подбежал хищный зверь к Ваньке, а тот, как плохой солдат, всегда на левом фланге болтался. «В строю стоять не умеешь!» Хлесть его в ухо. Вылетела у того зеленая сопля и хлестнулась ротному на чищенный сапог. Бац в другое ухо: «Пшел с глаз долой, черт паршивый!» А вятский глядит сквозь офицера и тихонько так улыбается, будто во сне веревки вьет. Потом он упал, кровь из ушей поползла, уложили его на шинельку и унесли в больницу военную. Там он оглох на оба уха, поскомлел-поскомлел и опустился, бедняга, в черную могилу...

Ваньку мне стало жалко, себя жалко, жалко всю нашу сиротскую мужичью жизнь... Родился – виноват, живешь – всех боишься, умрешь – опять виноват... Стою, дрожу, от злости меня аж вывертывает всего, а он, малина-командир, ухватил нас с Остапом за воротники и над повозкой приподнял.

– Вот, – кричит, – ваши депутаты... Головы им поотвертывать за подрыв дисциплины... Дурак дурака чище, а может быть, и немецкие шпионы.

Качнулись
посунулись

задышали едуче...

– Шпио-о-оны?

– Во-о-о...

– Ты, господин полковник, наших болячек не ковыряй... Плохие, да свои.

– Хищный гад, ему бы старый режим.

– Шпиёны, слышь?

– Дай ему, Кужель, бам-барарам по-лягушиному, впереверт его по-мартышиному, три кишки, погано очко!.. Дай ему, в нем золотой дух Николая Второго!..

Задохнулось сердце во мне.

С мясом содрал я с груди кресты свои, показал их полчанам и начальнику своему, навесившему на меня кресты мои:

– Это что?

Все кругом задрожало и застонало:

– Дай ему!

– Вдарь раза!

Я:

– Это что?

Молчал Половцев.

– Гляди хорошенько, командир ты наш, отец ты наш родной. Гляди, не мигай, а то я тебе эти полтинники вобью в зенки! – И на этих словах, не стерпя сердца, хлестнул я командира крестами по зубам.

Половцев

падая

зацепился шпорой и опрокинул повозку, но упасть в тесноте ему не дали – подняли на кулаки и понесли...

Наболело, накипело...

– Дай хоть раз ударить! – всяк ревет.

Где ж там на всех хватить.

Раздергали мы командировы ребра, растоптали его кишки, а зверство наше только еще силу набирало, сердце в каждом ходило волной, и кулак просил удара...

Пошли ловить начальника хозяйственной части Зудиловича, прозванного солдатами за свой малый рост Два Аршина с Шапкой. Видит он, деваться некуда, и сам, уперев руки в боки, выходит из своей канцелярии на страшный суд-расправу. Уробел злец, ростом будто еще меньше стал, и глаза его, зеленые воры, так по сторонам и бегали...

С самой весны питался полк голой турецкой водой и прелой чечевицей. Раньше боялись кормить такой чечевицей лошадей, шерсть от нее вылезит, а теперь кормили людей. Навалимся на котелок артелью – не зевай, только ложки свищут да за ушами пищит. Мнешь-мнешь, мнешь-мнешь, ровно барабан раздуется брюхо, жрать все равно хочется, а жрать нечего. С тоски пойдет какой бедолага, на ходу распоясываясь, присядет в ямку под кустом и давай думать про политику: «Служил, мол, ты, дурак, серая порция, царям, служил королям, служишь маленьким королётам, а ни один черт не догадается досыта тебя накормить...» Кряхтит-кряхтит, так ничего и не выдумает. Воюй, верно, не горюй и жрать не спрашивай.

Стали мы пытаться своего начальника, куда деваются несчастные крохи солдатские, кто хлебушком солдатским харчится, кто махорку солдатскую скуривает, кто попивает солдатский чаек внакладку.

– Я тут ни при чем, – как на шиле вертится Два Аршина с Шапкой, – доставка плохая, путь далекая.

– Сказывай, щучий сын, кто кровушку нашу хлебает, кто печенкой нашей закусывает?
– Опять же я не виноват, дивизионные воруют, а наряды посланы давно, не нынче завтра транспорт ждем.

– Отчего каша гнилая? Отчего в каше солома рубленая, горький камыш и всякая ерунда?

– Каша вполне хорошая.

– Гнилая.

– Хорошая.

– Гнилая! – кричим.

– Отличная каша, – твердит свое Зудилович.

Тогда принесли и поставили перед ним кукурузной каши бачок на шестерых. Дали большую ложку. Один шутник догадался, подмешал в кашу масла ружейного.

– Ешь.

Глядим, что будет.

– Ешь и пачкайся.

Припал наш начальник над котелком на корточки и принялся за кашу.

Все молчали над ним и каждую ложку в рот глазами провожали...

Ел он, ел, икнул и заплакал:

– Больше не могу, господа.

Мы его за усы.

– Кушай.

– Кушай, кормилец, досыта... Мы ее три года едим, не нахвалимся.

Распоясался он, давай опять есть. Фельдшер с писарем заспорили, лопнет Зудилович или нет.

– Согласно медицины должен лопнуть, – говорил фельдшер Бухтеяров: не только в нашем полку, но и далеко кругом славился он растравкой ран, по которым ухари получали краткосрочные и долгосрочные отпуска на родину.

– Нет, не лопнет, – ускорил писарь Корольков и рассказал, как у них в штабе ординарец Севрюгин на спор зараз десять фунтов колбасы да каравай хлеба смял и не охнул, покатался по траве, и вся недолга.

– Ну, это ты, друг, врешь.

– Я?... Вру?..

– Хотя бы и так, – говорит фельдшер, – то твой Севрюгин, а то образованный человек: в нем кишка тоньше, чуть ты ее понатужь, и готово.

Поспорили они на полтинник.

Давится Два Аршина с Шапкой, но жует, а у нас уже и сердце отошло, краснословим, ржем – зубов не покрываем:

– Скусно, поди, в охотку-то.

– С верхом черпай.

– Рой до дна.

– Отгребайся, дядя, ложкой-то, отгребайся, до берегу недалеко.

– Ложка у него титова...

Выел начальник кашу и ложку облизал.

– Хороша? – спрашиваем. – Еще не подложить ли?

– Не каша – разлука, – отвечает он, обливаясь слезами.

– Помни нашу науку.

– Каюсь, братцы.

Приняли его под руки и, обсыпая неприятными словами, на гауптвахту повели.

Заодно думали и каптера Дуню постращать, да не нашли, унюхал и скрылся.

Расходимся по землянкам.

– В частях кругом пошло блужденье, – говорит разведчик Василий Бровко, – пора войне поломаться.

– Пора, пора...

– Надысь, слышь, Самурский полк снялся с позиции и самовольно в тыл ушел.

– Астраханцы тоже поговаривали...

– К зиме, поди-ка, ни одной русской ноги тут не останется.

– Народ у нас недружный, у каждого глотка-то, как рукав пожарный, крику много, а делов на копейку... Держись мы дружнее, давно бы дома с бабами спали.

– Твоим бы, Кузя, задом из досок гвозди дергать...

– Разбежимся все, кто же будет фронт держать? – спросил кадровый солдат Зарубалов.

– Аллах с ним, с фронтом.

– А Расея?

– Это не нашего ума дело... У Расеи жалельщики найдутся, мало ли их по тылам прячется...

– Живут, твари, сполагоря.

– Жалко, Кавказ пропадет, сколько тут наших могилок пораскидано...

– Побитых не вернешь, а грузинцев с армянами жалеть нечего, пускай сами обороняются, коли им турки не милы.

– Чего тут сидеть, мертвых караулить...

– Выслать бы своих шпионов в Россию и узнать, кто там кричит: «Война без конца», – того бы за щетину да в окопы... Или половина остаемся и воюем один за двух, а половина с оружием идем по всему государству из края в край, колем и режем, стреляем и вешаем всех сверстников царизма и, разделив по совести землю и леса, фабрики и заводы, возвращаемся сюда на смену...

– Кабы ты, Миша, вместо Керенского в креслах сидел да приказы писал, вот бы мы наворочали делов...

Взводный Елисеев вспомнил Половцева и перекрестился:

– Хороший был командир, царство ему небесное, вечный покой...

– Все они, псы, хороши, – говорю, – не знать бы их никогда...

Мученый и маленький ефрейтор Точилкин боязливо оглянулся и сказал:

– Удохать мы его удохали, а не вышло бы тут, братцы, какого рикошета?

Когда убивали начальника, Точилкин в сторонку отбежал: крови видеть не мог после того, как однажды побывал в штыковой атаке.

– За ними гляди да гляди.

– Не поддадимся.

– Чего ждем, скажи на милость?... Давно бы их всех на солдатский котел перевести...

– На котле далеко не уедешь, их благородиям надо на самый хвост наступить...

В комитетскую палатку прибежал язычник, прапорщик Онуфриенко, и доложил про потайное собрание офицерское: крепко-де они за Половцева обижены, надумывают, как бы казаков на полк напустить, а сами-де уговариваются по тылам разъехаться и бросить полк на произвол судьбы.

Солдат, он хитрый: там секреты и тут секреты, у них потайные разговоры, а у нас каждые сутки рота наготове.

– Какая нынче дежурная? – спрашиваю члена комитета Семена Капырзина.

– Двенадцатая дежурная, – отвечает Капырзин и, передернув затвор, посылает до места боевой патрон.

Всполюшились:

– Не зевай, ребята.

– Чего зевать, каждую минуту жизнь смертью грозит.

– Выходи, шуму лишнего не подавай.

Бежим во вторую линию укреплений, и я громко подаю команду:

– Двенадцатая, в ружье!

Вылетают из своих нор солдаты двенадцатой роты: кто одет, кто бос и без шапки, но все с винтовками.

Мы, комитетчики, вкратце объясняем, из-за чего поднята тревога, и рота, рассыпавшись цепью, скорым шагом направляется к лесу.

Окружаем блиндированную землянку офицерского собрания. Заходим в землянку втроем.

– Здравствуйте, господа офицеры! – смело говорю я и кладу руку в карман на бомбу.

– Здорово, шкурники! – отвечает батальонный второго батальона штабс-капитан Игнатьев и, встав из-за стола, идет прямо на нас: – Мерзавцы! Как вы смели войти без разрешения дежурного офицера?

И со всех сторон густо посыпались на нас обидные слова.

Вижу, Остап Дуда сменился в лице и на батальонного грудью:

– Нельзя ли выражаться полегче?... Мы есть депутация... Пришли узнать, какой вы за пазухой камень держите?

– Что-о тако-о-ое? – орет Игнатьев, глаза выпуча. – Ах вы, каторжные лбы!

Не помню, как шагнул вперед и я.

– Знай край да не падай, ваше не перелезу! Довольно измываться над нашим братом! Довольно из нас жилы тянуть!

– За нас двенадцатая рота! – с провизгом закричал из-за меня и Капырзин. – За нас полк, за нас вся масса солдатской волны, казаками нас не застрашаете, это вам не старый режим...

– Ма-а-а-алчать... Предатели... Родина... Измена! – Батальонный выхватил наган. – Я не могу... Я застрелюсь! – и поднял наган к виску.

– Валяй... Один пропадешь, а нас – множество – останется, – говорит Капырзин.

Раздумал. Опустил руку с наганом и говорит тихим голосом:

– Сукины дети вы.

Офицеры окружили его, отжали в угол и принялись успокаивать.

– Господа депутаты, – обратился тогда к нам молодой и чистый, как утюгом разглаженный, адъютант Ермолов, – господа, по-моему, тут недоразумение... Камня за пазухой мы не держим, и никаких особых секретов у нас нет... Просто, как родная семья, собрались чайку попить и побалагурить... Верьте слову, политикой мы никогда не интересовались... Мы не против и Временного правительства, не против и революции, но... – он оглянулся на своих, – ко...

– Мы не допустим, – выкрикнул Игнатьев, – чтоб какая-то сволочь грязнила честь полкового знамени, под которым когда-то сам Суворов водил наш полк в атаку на Измаил и Рымник. Наше знамя... – и пошел, и пошел про заслуги полка высказывать.

Насилу его уняли.

К нам опять подлез тот адъютантишка и зашептал:

– Вы на него не сердитесь, господа. Чудеснейшей души человек. Но... но... на язык не воздержан... Революция – это, знаете, такое...

– Мы и без вас, господин поручик, знаем, что такое революция, – говорит Капырзин. – Расскажите нам лучше, как вы солдата на фронте удерживаете, а сами сговариваетесь дезертировать?

– Ложь, чепуха, хреновина... Больше доверия своему непосредственному начальнику. Солдат ничего не должен слушать со стороны, от какого-нибудь проходимца-агитатора...

Все новости должен узнавать через начальника... И со всеми обидами идти к начальнику... Не с первого ли дня войны мы находимся вместе с вами на позиции?

– Вы не сидите, – говорит Остап Дуда, – не сидите в окопах по жопу в воде. Вы – сухие и чистые – на стульях спите...

– Не вместе ли мы честно служили и не должны ли мы на этих позициях честно и вместе умереть? За родину, за свободу, за...

– Нам, – говорю, – умирать не хочется. Слава богу, до революции дожили и умирать не желаем.

– Будя, поумирали, – ввязался и Капырзин. – Три года со смертью лбами пырялись, надоело... Нам чтоб без обману, без аннексий и контрибуций.

– Ба, большевицкие речи?

– Нам все равно, чьи речи. Нам ко дворам как бы поскорее, а вы, господа офицеры, нас вяжете по рукам и ногам. Три года...

– Три года! – опять выскочил из своего угла батальонный Игнатьев. – А я служу пятнадцать лет... Нет ни семьи, ни дома... Все мое богатство – сменка белья да казенная шинель... Теперь вам то, вам се, а нам, старым командирам, шиш костью?.. Вам свобода, а нам самосуды?.. Хамы, сукины дети! Не радуйтесь и не веселитесь – дисциплина нового правительства будет еще тверже, и вы, мерзавцы, еще придете и поклонитесь нам в ноги!..

– Пойдем, – сунул меня локтем под бок Остап Дуда, – тут разговоров на всю ночь хватит, а там рота под дождем мокнет...

Повертываемся и выходим.

Рота обступила нас.

– Ну, чем вас там угощали, чем потчевали?

– Мы их испугались, – смеется Капырзин, – а они нас. Потявкали друг на друга, да и в стороны.

– Жалко, драки не вышло. Не мешало бы для остратки одному-другому благородию шкуру подпороть.

– Кусаться с ними так и так не миновать.

– Пока вы там гуторили, мы по лесу всю телефонную снасть пообрывали.

– Ну, ребята, держи ухо востро. Пулеметчикам находиться неотлучно на своих местах. К батарее выставить караул. На дороги выслать заставы. Всем быть готовыми на случай тревоги.

Утром полк был собран на митинг.

Долго судили-рядили. В конце концов было решено батальонного Игнатьева арестовать, а к казакам и в 132-й стрелковый срочно слать своих делегатов. Арестовать себя батальонный не позволил – застрелился, делегаты были посланы.

Не успели мы разойтись, скачет из штаба дивизии ординарец с распоряжением немедленно везти урну с солдатскими голосами в Тифлис, где квартировал общеармейский комитет Турецкого фронта.

– Максима Кужеля слать!

– Пимоненко!

– Трофимова!

Каждому из нас хотелось в тыл – вольную жизнь посмотреть, да и к дому поближе.

Артиллерист Палозеров сказал за всех:

– Нечего нам, братцы, горло драть без толку. Человек тут требуется надежный. Может, через них, через листки-то, какое освобождение выйдет. Благословись, пошлем-ка кого-нибудь из наших комитетчиков. Верней того ничего не выдумать.

Слову его вняли.

Перед целым полком тащили мы жеребья.

Один тащит – мимо, другой – мимо, третий – мимо.

Пало счастье на меня – вытащил пятак с зазубриной, – и заиграло во мне!

Сгреб я барахлишко, посовал всякую хурду-мурду в один мешок, голоса солдатские – в другой и сажусь на арбу.

– Прощевай, земляки.

– Счастливо.

– Возвращайся поскорее.

– Чего он тут забыл?.. Сдай, Кужель, голоса, отпиши нам про тыловые порядки и валяй на Кубань, а следом и мы прикатим.

Кто целоваться лезет, кто на дорогу мне табачку отсыпает, кто сует письмо на родину.

Разобрал ездовой вожжи, гаркнул, и подпряженные парой кони взяли.

С перевала оглянулся я последний раз...

Далеко внизу чернели окопы, виднелись землянки, пулеметные гнезда, батарея в лесочке, и вся широкая долина была насыпана солдатами, как горсть махоркой.

– Прощай, лешая сторонка.

Три года не плакал – все молился да матерился, – а тут прорвало...

Пожар горит-разгорается

*В России революция,
вся Россия на
ножах.*

Горы, леса, битые дороги...
По хоженным дорогам, по козьим тропам несло солдат, будто мусор весенними ручьями.
Солдаты тучами обледали станции и полустанки. По ночам до неба взлетало зарево костров. Все рвались на посадку, посадки не было.

Поезда катили на север, гремя песнями, уханьем, свистом...

Дребезжащие теплушки были насыпаны людьми под завязку, как мешки зерном.

– Земляки, посади!

– Некуда.

– Надо ехать али нет?.. Две недели ждем.

– Езжайте, мы вас не держим.

– Как-нибудь...

– Полно.

– Товарищи!

– Полно.

– Туркестанского полка...

– Куда прешь?.. Афоня, сунь ему горячую головешку в бороду.

– Депутат, голоса везу! – охрипло кричал Максим и, как икону, поднимал перед собой урну с солдатскими голосами.

Его никто не слушал.

Стоны, вопли, крики...

В клубах дыма и пыли летели поезда.

Обгоняя колеса, катились тысячи сердец и стукотук-тук-тукотали:

...до-мой...

...до-мой...

...до-мой...

Максим вывязал из мешка последнюю краюху черного и тяжелого, как земля, хлеба и принялся махать краюхой перед бегущими мимо вагонами:

– Е! Ей!

Рябой казачина на лету подхватил краюху, Максимовы мешки и самого Максима через окно в вагон втащил.

– Поехали с орехами!

– Тесновато, но ехать можно.

– Закрой дверь, холодно, – рычит один из-под лавки, а дверь с петель сорвана и сожжена давно, окна в вагонах побиты.

– Терпи, едешь не куда-нибудь, а домой.

Лобастый, свеся с верхней полки стриженную ступеньками голову и поблескивая озорными глазами, с захлебом рассказывал сказку про Распутина:

– ...Заходит Гришка к царице в блудуар, снимает плисовые штаны и давай дрова рубить!

Смеялись дружно, смеялись много, заливались смехом. Накопилось за три-то годика, а на позиции не до веселья – кто был, тот знает.

– Это что! – лезет из-под лавки тот, который рычал: «Закрой дверь, холодно». – Вот я вам расскажу сказку, так это сказка...

Его сказка развернулась на большой час, была полна она диковинными похождениями отпускного солдата: сколько им было простаков обмануто, сколько добра доброго поуворовано, сколько зелена вина выпито и сколько девок покалечено...

В том же вагоне ехал избитый в один синяк и ограбленный солдатами старый полковник. Босые, опутанные бечевками ноги его болтались в заляпанных грязью валяных обрезках; плечи прикрывал драный, казенного образца, полушубок. В измятый медный котелок он подбирал с полу объедки и сосал их. Из-под фуражки в красном околыше выбивались пряди седых свалывшихся волос. Спал он, как и все, стоя или сидя на полу – лечь было негде. Захочет старик до ветру, а его и в дверь не пускают...

– Лезь, – кричат, – в окошко, как мы лазим.

Максиму жалко стало старика, подвинулся немного и пригласил его присесть на лавку.

– На добром слове спасибо, братец. Недостойн я, это самое, с солдатыками в ряд сидеть... За выслугу лет, это самое, вчистую вышел... – И не сел, а у самого дробные слезы так и катятся по щетинистой щеке.

Со всех сторон руганью, ровно поленьями, швыряли в старика:

– Глот. Давно подыхать пора, чужой век живешь.

– Вишь, морду-то растворжили...

– Может быть, из озорства ему накидали?

– Зря бить не будут, бьют за дело.

– Выбросить вон на ходу из окошка, и концы в воду... Мы походили пешком, пускай они походят.

– Брось, ребята, – вступился Максим, – чего старика терзать? Едет и едет, чужого места не занимает... Всем ехать охота.

– Правильно, – поддержал лобастый сказочник с верхней полки, – перед кем он провинился, тот ему и наклац, а наше дело сторона... Из них тоже которые до нашего брата понятие имели...

Ехал тот полковник к дочери в станицу Цимлянскую, на тихий Дон. До самого Тифлиса Максим подкармливал его и на прощанье чулки шерстяные подарил:

– На, носи.

На каждой остановке солдаты будто из-под земли росли.

С ревом, лаем лезли в окна, висли на подножках, штурмом брали буфера, на крышах сидеть места не хватало – ехали на стойках, верхом на паровозе. Под составами визжали немазанные колеса, прогибались рельсы.

– Садись на буфер, держись за блин!

Под Тифлисом затор.

Разъезд забит эшелонами.

Голодные солдаты уже по двое, по трое суток сидели по вагонам и матюжили буржуазию, революцию, контрреволюцию и весь белый свет; иные – с вещевыми мешками, узлами, сундучками – отхватывали по шпалам, держа направление к городу; однако большинство из этих торопыг, напуганные чудовищными слухами, с дороги возвращались, сбивались у головного эшелона в кучки, митинговали.

В каждой кучке свой говорух, и каждый говорух, закусив удила, нес и нес, чего на ум взбредет. Один уговаривал слать к грузинскому правительству мирную делегацию; другой советовал сперва обстрелять город ураганным артиллерийским огнем и уже тогда посылать делегацию; а изрядно подвыпивший казачий вахмистр, навивая на кулак пышный, будто лисий хвост, ус свой, утробным басом гукал:

– Солдатики-братики, послушайте меня, старого да бывалого... Ни каких делегаций не треба... Нечего нам с теми азиятцами устраивать сучью свадьбу... Хай на них тряса нападет!.. Хай оны вси передохнут!.. Пропустите меня с казаками вперед! Як огненной мет-

лой прочищу дорогу и к чертовому батьке повырублю всех новых правителей, начиная с Тифлиса и кончая станицей Кагальницкой, откуда я сам родом... Так-то, солдатики-братки... – Присмотрев на лица некоторых слушателей лукавые улыбки, кои показались ему оскорбительными, вахмистр насупился, откинул на плечо ус и, хватив себя кулаком в грудь так, что кресты и медали перезвякнули, заговорил с еще большим жаром: – Вы, скалозубы, що тамо щеритесь, як тот попов пес на горячую похлебку? Цыц, бисовы души! Я вам ни який-нибудь брехунец-вертихвост... Я в шестом году, находясь на действительной службе, сам партийным был. Командир наш, хорунжий Тарануха, добрый был казак, царство небесное, за один присест целого барана съедал, – выстроил нашу сотню на плацу и говорит: «Станишники, лихое настало время на Руси, скрозь жида и студенты бунтуют... Скоро и наш полк погонят в ту проклятую Одессу на усмирение... Помня присягу и нашу православную веру, должны мы всей сотней записаться в партию, чи союз Михаила-архангела». – «Рады стараться, отвечаем, нам все едино...» – И, похоже, долго бы еще ораторствовал речистый вахмистр, но вот через толпу протискались два казака и, сказав с укором: «Будет вам, Семен Никитович, всю дурь-то сразу выказывать, поберегите что-нибудь и на завтра», подцепили его под руки и увели в свой эшелон.

На обсохшем пригорке играли в орлянку, высоко запуская насветленные медные пятаки. Двое затеяли русско-французскую борьбу, собрав вокруг себя множество зрителей, из которых чуть ли не каждый подавал свой совет тому или иному из борющихся. Несколько человек сидели и полулежали в вольных позах вокруг раскинутой шинели и резались в очко. Уже побывавший и в Тифлисе, и в Баку старшой какой-то конвойной команды – лихого вида фельдфебелек – метал банк и бойко рассказывал:

– Грузия, дело известное, от России откололась. Надоело грузинцам сидеть за широкой русской спиной, хотят пожить по своей воле... Деньги теперь у них свои, законы свои, правители свои, ну – разлюли малина!

– Какой они партии? За что борются? – отрывисто спросил рыжий, страшной худобы солдат.

– Кто? Грузинцы?.. Партий всяких у них, брат, развелось больше, чем блох в собаке. И все друг друга опровергают, и все друг друга не признают, и кто у них за что борется, кто прав, кто виноват – сам архиерей не разберет... Видал я одного ихнего министра в городском саду на митинге – ну, ничего, одет чисто, при часах и с тросточкой. Речь его я понять не мог, говорил он не по-русски, а по-своему. Газеты тифлиссские читал, тоже доподлинно не вызнал, что к чему, а так, на базаре, от одного прапорщика слышал: «Грузия-де к меньшевикам приклоняется, всю власть им перепоручила, а меньшевики-де раньше были у большевиков в подчинении, как апостолы у Христа; а ныне будто бы те апостолы рассвирепели, не признают ни царских, ни барских, да и самого Христа уже за горло берут... Тюрьмы тифлиссские набиты внабой».

– Азиат, он азиат и есть, – вздохнул один из игроков, – ему кровь вместо лимонаду.

– Шустры они, бойки, – продолжал фельдфебель повествовать о меньшевиках, – но, как зайцы, всех боятся: рабочих боятся, солдат боятся, генералов русских боятся, турок боятся, а пуще всего большевиков боятся...

– Этим правителям хрен цена. Эти правители временны, до первого морозу, – опять сказал рыжий солдат своим глухим, замогильным голосом, выбирая рублевку из зажатой в кулак пучаги мятых денег. – Дай карту. Дай еще, – с трепетом, ме-е-дленно он поднял последнюю карту и, точно обжегшись, отдернул руку. – Перебор. Служил у нас в Кимрах, годов сорок кряду служил становой пристав Мамаев. Вот это был правитель! Трезвый по деревне скачет, и то ни один пес – на что тварь беспонятная – на него гавкнуть не смел. Ну а как напьется, никто на глаза не попадайся, разорвет! Мужики слышат бубенцы – Мамай скачет, – врассыпную: кто под избу забьется, кто на гумнах в солому зароется, кто куда.

У него уж, бывало, пока обедня не отойдет или вечерня не кончится, пьяным на улицу не покажешься и в гармошку не сыграешь... Форменный был разбойник, трава перед ним от страху вяла, да и то, еще месяца за три до революции, попал мужикам на вилы. А сколько их, таких Мамаев, было у царя? Где они? Всех варом, как тараканов, поварило. Ныне народ отчаялся и облютел, никакого правителя к себе на шею не допустит.

Некоторое время все молчали, с интересом следя за ходом игры, потом разговор возобновился.

– И хорошо в гостях, а надоело, – задумчиво сказал наблюдавший за игрою со стороны Максим. – Добры люди, поди-ка, плуг и борону ладят, а мы как неприкаянные бродим и бродим по чужой стороне. Не горько ль?

– Не понимаю, какого дьявола тут сидим! – воскликнул уже неоднократно пытавшийся ввязаться в разговор мальчишка с нашивками вольноопределяющегося и с новеньким Георгием на груди; на свой знак отличия юный герой то и дело озабоченно посматривал, точно желая убедиться: не потерял ли? – Немцев били, турок били, а этих каналий в два счета расщепать можно. По-моему, если развернуть как следует боевой полк, обеспечить фланги достаточным количеством пулеметов, придать каждой роте...

Грянувший хохот старых солдат так смутил мальчика, что он поперхнулся собственным словом, закашлялся до слез и умолк.

– Прыткий! – подмигнул фельдфебель. – Сунься, они тебе покажут, почем сотня гребешков.

– А что?

– А то. Ты еще мал, круп не драл. – Банкомет с значительным видом поиграл косматой бровью и, снова раскинув донельзя затрепанные карты, продолжал повествовать: – Под национальные знамена грузинцы собирают свою армию, армяне – свою, татары – свою. В оружии у них, дело известное, недостаток. И вот меньшевицкие правители выкатили в Гянжинский район свой бронепоезд на разоружение эшелонов. Разоружить они мало кого разоружили, но на станции Шамхор – врасплох – посекали из пулеметов много нашего брата. Мать честная, что там делалось! Раненых, как саранчи, побитых два дня на кладбище возили. На грех, какой-то лазарет с тяжелыми эвакуировался, так эти бедолаги сгорели все до единого в своих вагонах. Ну, дело известное, солдаты остервенели. Поймают где грузинца, татару или армяна, тут ему и шаксей-ваксей: тесаком по арбузу, проволокой за шею и на телеграфный столб вздернут, на ноги еще камней повешают – мне плохо, но и из тебя, карапет, душа вон! Одного ихнего офицера, я тому сам свидетель, к забору штыками пришили, другого в нефтяном баке утопили...

Наслушался Максим тех речей – голова кругом пошла. С тяжелым сердцем он вернулся в свой наполовину опустевший вагон и завалился спать.

Разбудил его топот многих ног, дурные крики, в залепленные сном глаза ударил резкий свет замелькавших за окном вагона колючих электрических фонарей – эшелон, мотаясь на стрелках и позвякивая буферами, подходил к Тифлису. Перемигнули сигнальные огни, проплыли какие-то постройки и тополя, уходящие темными вершинами своими под самое звездное небо. Эшелон, миновав вокзал, покатило куда-то в темень, на запасные пути. Солдаты прыгали из вагона на ходу. Прихватив свои мешки, спрыгнул и Максим.

В вокзале он разыскал этапного коменданта в погонах подполковника, который сидел в кабинете один и, точно в бреду, наборматывал что-то сам себе.

– Тебе чего? Какого полка? Почему без пояса? – вперило он в Максима блуждающие безумные глаза кокаиниста.

Максим подал дорожный аттестат и мандат. Тот мельком просмотрел бумаги и швырнул их делегату:

– Нет у меня хлеба, нет махорки, нет сахару, убирайся к черту!.. – На короткую минутку он умолк и потом снова залопотал, забормотал, с ужасом глядя куда-то мимо Максима в угол: – Законность, порядок, идеалы, все проваливается в пропасть, все летит в тартарары... Ах, Ниночка, Ниночка, как ты меня огорчила, как огорчила!.. Тебе чего, солдат? Какого полка? Что за дурак у вас командир? Почему не по форме одет? Ах да... Так вот, голубчик, общеармейский комитет Турецкого фронта переведен в Екатеринодар. Туда и езжай со своими голосами, хотя это и бесполезно... Эти мерзавцы уже разогнали Учредительное собрание, разгромили колыбель России – Московский Кремль. Все пропало, страна гибнет, гибнет культура... Ты, скот, того понять не можешь... Кубанец? Рад небось, каналья? Сейчас отправляю с пятого пути эшелон. Получай пачку папирос и езжай к чертовой матери. Все рушится... Господи... Вековые устои... Горе, горе россиянам... *Гайда да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом*, – пропел он и, закрыв лицо руками, зарыдал.

«Нализался», – подумал Максим и вышел.

На станции не было ни питательного пункта, ни хлебных лавок. Голодные, рыча и стелая, бродили солдаты. Весь привокзальный район был оцеплен полком грузинской народной армии: в город фронтовиков не пускали – погромов боялись – и пачками толкали дальше, на Баку. Составы то и дело – один за одним, один за одним – уходили на восток.

– Эх, – тяжело выдохнул какой-то ефрейтор, стоя в распахнутых дверях теплушки и грозя винтовкой уплывающему из глаз городу, откуда, несмотря на раннее утро, все еще доносились всхлипывания оркестров, – на фронт провожали с цветами, а встречаете лопухами? Куска хлеба жалко?... Ну, погоди, кацо, не попадешься ли где в тесном месте?

– Не серчай, земляк, печенка лопнет, – хлопнул его Максим по плечу. – Меншевики узнали, хороша партия, дай ей бог здоровья. Дальше поедет, может стать, еще чище узнаем.

– Да уж больно обидно... В газетах пишут: «Равенство, братство», а сами норовят хватить тебя под самый дых и хлеба не дают ни крошки.

– Ладно, – опять сказал Максим, – и нам какой кудрявый под лапу попадется, пускай пощады не просит.

– Спуску не дадим.

– Главное, ребята, с винтовкой не расставайся, – отозвался еще один из-под нар. – До самой смерти держи ее, матушку, наизготовку, и никакая собака к тебе не подступится, потому что она кусаться и любит, а голова у ней всего-навсего одна.

За Тифлисом началась война.

Горцы большими и малыми отрядами нападали на эшелоны, – под счастье – грабили их и спускали под откосы.

На путях голодали люди, дохли лошади.

Поезда тянулись сплошной лентой, в затылок друг за дружкой. По ночам на поездах ни огня, ни голоса. Выставив дозоры и заставы, отставались в полной боевой готовности. Ехали одиночками, командами, полками, с артиллерией, обозами, со штабами. Походным порядком, сметая с пути банды, двигались отдельные части 4-го и 5-го стрелковых корпусов.

Актафа, Гянджа, Евлах – на каждой станции перестрелка, суматоха, тарарам. Горела станция Елисаветполь, горела Кюракчайская керосинопроводная станция. По всей линии горели мелкие станции. Железнодорожные служащие, путевая стража и ремонтные рабочие с семьями, скарбом бежали в сторону Баку. Горели покинутые дома, будки и рабочие казармы. Горели татарские аулы и села русских сектантов. На подступах к горной Армении гремели пушки. На рубежах Грузии, Дагестана и Азербайджана гремели пушки. Воплями, стоном и дымом пожаров было перекрыто все Закавказье.

Булга.

Все подъездные пути по самые выходные стрелки были уже забиты поездами, а со стороны Тифлиса накатывались все новые и новые, и уже некуда им было становиться; они останавливались за семафором, в чистом поле, откуда к станции гуськом тянулись делегаты, крупно разговаривая:

– Кто нас держит?

– Из паровозов, слышь, весь дух вышел – не берут.

– Всех белогорликов убивать надо.

Вокруг станции и на путях, прямо по земле и по дикому камню были разметаны ноги в разбитых сапогах, лаптях, отопках, истрескавшиеся от грязи руки, лохмотья, крашенные ободранные сундучки, мешки, на мешках и сундучках всклокоченные головы, лица, истомленные, мученные, и рожи, запухшие то ли от длительной бессонницы, то ли с большого пересыпу.

Совсем недалеко, в горах, регулярный казачий полк дрался с татарами, кои то отступали на линию своих аулов, то сами – с гиком, визгом – кидались в атаку, стремясь прорваться за перевал, на соединение с другим отрядом. Эхо ружейных залпов перекачивалось в горах. Тишину нежного утра громили пушки. По хорошо слышным разрывам фронтовики определяли калибр:

– Трехдюймовка...

– Тоже...

– Чу, горняшка... Должно, ихняя.

– У них орудиёв нет.

– А ты алхитектор? Проверял, чего у них есть, чего нет?

– Ого, жаба квакнула. (Бомбомет.)

– Да, эта по затылку щелкнет, пожалуй, на ногах не устоишь.

За семафором шальной снаряд

ззз бум!

разбрызгал грязь и панику.

Кто закрестился, кто за винтовку, кто шапку в охапку и – наутек.

– Бьют, курвы!

– Обошли!

– Ссыпайся!

– Ганька, канай! Ганька, где мой мешок?

– Стой, братцы! Стой, не бегай! Дерутся они с казаками, нас не тронут.

– Как же, по головке погладят.

– Ух, батюшки, задохнулся... Этак, не доживя сроку, умрешь.

– Делегацию бы послать на братанье, как на фронте. Так и так, мол, товарищи...

– Сымай штаны, ложись спать... Они те набратают, вольного света невзвидишь. Вон лежат бедняги, награжденные за верную и усердную службу.

В дверях разграбленного складочного сарая, на новеньких рогожках, рядом лежали прикрытые шинелями два зарезанных пехотинца Гунибского полка. Из-под коротких шинелей торчали грязные мертвые ноги – пятки вместе, носки врозь. Вчера оба были высланы от своего эшелона на переговоры с татарами, нынче их нашли в канаве под насыпью. Вот подошли несколько гунибчан, – один с высветленной лопатой на плече, – перекинулись коротким словом и прямо на рогожках потащили резаных в недалекую ложбинку, где земля была мягче. Там они наскоро закопают обоих в одну яму, потом разбредутся по вагонам и укатят. Будут лить дожди, шуметь травы, гореть тихие зори, но уже никогда ни одна близкая душа не придет поплакать, постонать на затерянную в степи солдатскую могилу...

Под ветром плескались костры.

Жарко пылали смоляные плахи шпал, расколки каких-то досок, хорошо горела и вагонная обшивка, закипая по ребрам краской. К огню со всех сторон лепились котелки, в котелках пучилась мамалыга и кукуруза.

Чернобородый большой солдат вытащил из мешка пеструю курицу, которая ни разу и кудахнуть не успела, как он – хрупнув – откусил ей голову и, прислушиваясь к редким орудийным выстрелам, вздохнул:

– Палят и палят... Господи, твоя воля... И чего проклятым дома не сидится? И чего псам гололобым надо?

– Это нам, землячок, война надоела, а им в охотку.

Пыл лизал наколотую на сизый штык курицу. Обглоданный болезнью паренек зябко кутался в шинель, глубоко засовывая рукав в рукав, мигал воспаленными загноившимися глазами и, жадно раздувая ноздри на гарь куриных перьев, угодливо соглашался с черным:

– Подлющий народ, Сила Нуфрич, хуже собак, ей-бо... А курочка-то пригорает.

– Не бойся, не пригорит... Бежать...

– Бежать, бежать, Сила Нуфрич, тут хорошего не жди... А курочка-то того, ты поглядывай.

– Будь татары одни, – сказал закутанный в смрадное рубище ополченец, – мы бы их живо раскуделили, а то ведь за них наш позиционный офицер воюет, вот жаркота!

– Да што ты?

– Верно слово.

– Как же оно так?

– А вот как... Вчера за Курой поймали наши разведчики двух азиатов и с ними офицершу русского. Ладно. Привели на станцию. Тут и давай им хвосты крутить, давай допытывать, какому они богу молятся. Ладно. С татарина много не спросишь, – бэльмэ, бэльмэ – рукавами себя по ляжкам хлыщут, языками чмокают: «Была барашка мыного, была лошадка мыного, была маладой жена мыного. Война пришел – барашка ушел. Свобода пришел – лошадка ушел. Бальшавой пришел, кричит: «Буржу, буржу!» – последки отбирал, с жена чадра снимал. Барашка ёк, лошадка ёк, ёканда маладой жена. Ай-яй-яй, урус, сапсем палхой порядка пошел!» Над азиятами смеючись, кишки мы себе порвали, ну а к офицеру подступили покруче. Ладно. «Какой партии?» – спрашиваем его. Отвечает: «Беспартийный». – «Врешь, так твою и этак, – говорит один из комитетских, – беспартийные, как тараканы, должны на печке сидеть, а не между татарами шиться». Ладно. Спросили его, какой он части, давно ли с позиции. Молчит. Еще чего-то спросили. Молчит. Тогда комитетский развертывается и бяк его благородие по рылу, бяк еще, он и заговорил: Расея, союзники, то да се, хотим, мол, приостановить ваше позорное бегство и завернуть армию обратно на фронт.

– Чисто.

– Черепки у них варят... Там били нас и тут бьют, там путали и тут путают.

Курица была готова. Чернобородый отломил горелое крылышко, лизнул было его сам, но обжегся и бросил парню:

– На-ка, Федюнька, займись от скуки.

Тут же рядом, за каменной оградой, на камышовом снопе толстая армянка отпускала и пешему, и конному.

В вокзальном садике три толпы. В одной – играли в орлянку, в другой – убивали начальника станции и в третьей, самой большой, толпе китайчонок показывал фокусы:

– Шинд'ла, минд'ла... О, мотлия, шалика лука ложия... Ас! Дуа! П'хо! Пой'егла!.. Куа шалика пой'егла? Ни сная, спласи ната. – Перекосив чумазую, как сапожное голенище, рожицу, он лукаво пошептался со своим деревянным божком и обрадованно закричал: – Аа, сная, куа шалика пой'егла! Маа бох доблы!

Говор восхищенных зрителей:

– Ах, бес... Ну и бес.

– Заноза мальчонок.

– Да-а... Наш русский давно бы в куски пошел, а этот – уйди вырвусь!

Чернобородый большой солдат, расталкивая народ и на ходу обсасывая последнюю куриную ногу, коршуном летел добивать станции начальника: говорили, будто еще дышит.

По перрону похаживала веселая компания подвыпивших терцев: балагурили, ржали, от души потешаясь над своими же проказами. Один, самый молодой и дурной, отвернув голову на сторону до отказа и полузакрыв от удовольствия глаза, развлекался тем, что наяривал ложкой по пустому медному котелку и в лад скороговоркою сыпал несусветную похабщину; другой не раз пробовал затянуть терскую песню, да все голос срывался; еще двое состязались, кто выше плюнет, – они уже захаркали весь фасад вокзала, но спор все еще не был решен. Проходил по перрону и денщик командира сотни, Фока, на вид будто и придуриковатый малый, однако плут великий и пройда, каких свет не видывал. Он шел, и все его внимание было сосредоточено на том, чтобы не разлить сметаны, полнехонькое блюдо которой он нес в вытянутых руках. Гуляки окружили его и засыпали вопросами: «Куда ходил? Где молока надоил? Э, да это сметана! – воскликнул один из них, макнув в блюдо палец и обсосав его. – Ах, скусно... Почем брал? Расскажи, Фока, как ты в Эривани татарку в бане мылил?» И еще один макнул в сметану уже не палец, а всю пятерню, а тот, у которого в песне глотку перехватывало, бросил в сметану окурочек, что вызвало у всей компании бешеный хохот. Фока поставил блюдо себе под ноги и, прикрыв его полою шинели, взмолился:

– Станишники...

Но станичники наседали. Один уже нахлобучил ему шапку на нос, другой тянул из-под него блюдо со сметаною, а тот, что играл на пустом котелке ложкою, тормозил:

– Фока, Фока, а ну-ка соври что-нибудь не думаячи...

– Некогда мне с тобой, дураком, и язык чесать. Провались! – зарычал рассвирепевший Фока. – Вам все смешки да хахоньки, а там харч, там... эх, чего с вами и говорить.

– Где харч? Какой харч? – спросили в голос оба спорщика, бороды коих были заплеваны.

Фока воровато метнул глазом туда-сюда и зашептал:

– Крой, ребята, бога нет... В телеграфе, вон крайняя дверь с гирькой, сейчас начнут трофейную обмундировку раздавать... Полторы тысячи комплектов, сам видал... В случае... ежели... и мою очередь займите...

Станичники переглянулись, перемигнулись и, оставив в покое Фоку с его сметаною, хлынули к двери, за которой действительно было заметно какое-то оживление.

В телеграфе фронтовики штурмовали телеграфиста, требуя от него паровоза, а сзади в дверь напирали терцы, кубанцы и так, празднующиеся, тоже уже прослышавшие каким-то макарон про трофейную обмундировку.

– Братцы... Тут раздают?

– Становись в затылок.

– Мундировка?

– Ну? Семка, нашенских покличь!

– Легче напирай.

– Где мундировку дают?

– В очередь, в очередь! Все равны!

– Куды, черт, лезешь?

– Не больно черти, а то я те так чиркну, пойдешь отсюда вперед пятками... Я, брат, такой... Не погляжу и на лычки твои.

– Что тебе мои лычки, поперек горла встали?

– Положил я на них.

– Тише, тише...

– Мундировка?

– Не-е-е, – разочарованно тянет тот, у которого в песне голос осекался, – тут насчет паровозов...

Очередь, вставшая за обмундировкой, дает гулкий залп матюков и рассыпается.

– Ну и пес наш Фока, – отирая шапкой пот с лица, восхищенно сказал один из терцев. – Теперь уж, поди-ка, и Якова Лукича варениками удовольствовал, и сам около него сметанки полизал. Вот тебе и «соври-ка что-нибудь не думаячи».

Прижатый к стене телеграфист бормотал точно спьяну или спросонья какие-то жалкие слова... Перед его расплавленными от ужаса глазами прыгали солдатские подбородки, грязные усы, вспотевшие обезумевшие лица и широко распыленные оружие рты... Лапа вожака уже тянулась к горлу телеграфиста:

– Сказывай, сказывай останний раз, будут паровозы ай нет?

– С мясом выдерем!

– Нам так и так ехать.

– Хомут на белу душу!

Из крахмального воротничка тянулась гусиная шея, дрожали побелевшие губы.

– Товарищи... Милые... Господи... Я сам за новый режим... Даже боролся, имею соответствующие документы... Паровозы не от меня зависят.

Ударили голоса:

– Каля-каля, пополам да надвое!

– Глаза нам не отводи!

– Вынь да выложь паровозы!

– Смерти али живота?

– Должон ты расстараться. Хлеб мужичий ешь, а уважить мужику не хочешь?

– Празднички, гуляночки?

– Все буржуям продались!

– Пятый день вторую версту едем... Шутки плохие.

– Чаво с ним собачиться? Потрясти надо, тады и паровозы предоставит...

– Братцы... Даю честное благородное...

Злобой коптил солдатский глаз. Тянулись руки за телеграфистовой душой, сыпались светлые пуговицы с его форменной тужурки.

– Говори, не дашь паровозов?

– Братцы...

– Бей, сучья жила, телеграмму в Баку!.. Вызывай по аппарату Мурзе паровозы из Баки.

Будь на месте телеграфиста терец Фока, с величайшей готовностью кинулся бы он к аппарату *Мурзе*, и, несмотря на то что по линии все провода были давно уже порваны, изо всех сил принялся бы он трясти тот аппарат и повертывать его во все стороны; потом, сообразив, бросился бы он к давно не действующему телефону и – надувая щеки, свирепо тараща глаза – принялся бы он ругать бакинских начальников самыми последними словами и требовать, чтоб немедленно были высланы в его распоряжение сорок тысяч паровозов. Обнадеженные фронтовики угостили бы его махоркой, пожаловались бы на свою горькую судьбину и разошлись бы тихо, мирно. А там авось как-нибудь и разогнало бы тучу... Но простодушный телеграфист не горазд был на выдумки и на требование «бить телеграмму в Баку» только руками развел, что в воспаленном сознании солдат преломилось как нежелание расстараться и уважить.

– Лукин! – надорванный и полный отчаянья голос. – Лукин, чепыхни его!

– Эх! – плюнул Лукин в кулак. – Патриёт, война до победы! – И чепыхнул: телеграфист затылком о стену, уклеенную плакатами «Заем свободы».

В этот миг
грохнул
взрыв
брызнуло стекло
стены вокзала дрогнули.

Отхлынув от телеграфиста, бросились вон. Сперва никто ничего не мог понять. Перрон был окутан дымом, в дыму – стоны, тревожные выкрики и четкая команда:

– Тре-тья со-тя, в цепь!
– Санитара сюда...
– Эскадро-о-он, по ко-о-ням!
– Кирюха, где наши?

Мало-помалу дым развеялся.

По перрону там и сям лежали ничком и навзничь, ползали и стонали раненые, контуженные. Бегали санитары с носилками. На подъездном пути несколько теплушек было сорвано с рельсов.

Низенький, коренастый артиллерист Карской крепостной артиллерии стоял, прислонясь к осмоленному взрывом фонарному столбу, размазывал кровь по круглым щекам и, с удивлением разглядывая изодранную в клочья шапку-вязёнку, бормотал:

– Да как же оно так?.. Да боже ж ты мой... Да это ж его, бедолага, сивая шапка... – Затем, придя немного в себя, артиллерист уже более связно рассказал окружившим его солдатам: – Наш батареец Паньчо взорвался, истинный Христос... За салом мы с ним в поселок ходили, сала ни шматка не нашли... Ну, рóпили вина баклажку... Идем назад, тихо так и смирно о домашности разговариваем, а у Паньча на горбу, надо вам знать, полный мешок бомб и динамиту – на родину, бедолага, вез, буржуев глушить... Сала мы не сыскали, колбасы до смерти захотелось, колбасы тоже не сыскали... Пока шли, распили еще одну баклажку, но захмелели не дюже, а так – вполпьяна. Доходим до станции, степенный разговор ведем, ни нам никто, ни мы никому. Глядим – что за диво! – вагона нашего нет. Искали, искали, нету вагона. «Это насмешка над нами, – говорит Паньчо, – тут стоял вагон, и нету вагона». – «Это, – говорю и я, – дюже обидно. Пойдем-ка до дежурного по станции, поговорим с ним тихо, благородно». Только мы с Паньчом, господи благослови, до этого места дошли, только начали расспрашивать, как бы нам к дежурному пройти, откуда ни возьмись чумаха-парень. «Кой, кричит, черт на дороге встали?» – и ударь, стервец, моего друга чайником по горбу: Паньчо, известно, зашипел и взорвался... Вот одна шапка от него и осталась, а уж парень-то какой добро был, боже ж ты мой... Как, бывало, выйдем с ним на улицу, в своем то есть селе, как в две гармони рванем-рванем... Ууу...

Ахали, матюшились, из рук в руки переходила окровавленная, с прилипшими клочьями рыжих волос, казенного образца шапка-вязёнка.

Пальба в горах стихла.

Под песню и бренчанье походного бубна вернулись из боя казаки. Собачьи малахаи и курдские папахи, заветренные суровые лица, крепкие зубы и еще горящие тревогой и боевым задором глаза.

Со набега удалого
Едут казаки домой,
Гей, гей да люли,
Едут казаки домой...

Они привели с собой легких, как зори, татарских коней, – пленных дорогой порубили, – громовым «ура» солдаты встретили казаков.

Эшелоны, под которыми были паровозы, сорвались и, гремя железными скрепами, покатили на восток. Эшелоны, под которыми не было паровозов, остались голодать на разгромленной станции.

В Баладжарах затор.

Кобылки скопилось сто тысяч – сбор Богородицы, разных губерний и частей, – ехать не на чем, ехать боялись, но ехать все-таки надо.

По вагонам, закутавшись в бурки и овчины, спали и так валялись казаки и туркмены, осмоленные жирным солнцем Месопотамии. Домой они везли одни уздечки да крылья седельные, а кони их потонули в песках, погибли в походах. У костров обсушивались и дремали солдаты экспедиционного корпуса генерала Баратова. За три долгих горьких года они выходили все дороги и волчьи тропы от Кавказа до мосулдиальских позиций и обратно. Иные за все время походов хлеба настоящего и на нюх не нюхали и давно уже забыли вкус хорошей воды. Цинготные десны их сочились гноем, литую мужичью кость ломала тропическая малярия, язвы и струпья разедали шкуру томленную... Непролазна ты, грязь урмийская, остры камни Курдистана, глубоки пески Шарифхане!.. Стался тяжелый говор. Огни костров выхватывали из темноты то высветленную оковку приклада, то бамбуковые костыли раненого, то одичавшие, точно врезанные в голодное лицо, глаза.

В эшелонах смеялись и плакали гармони, пылали песни. Между путями отхватывали русского и гопака, в почернелых, обожженных зноем и стужей лицах веселой тревогой блестили глаза; топотом, гиком и хлопаньем жестких ладоней заглушали в себе тоску, голод, страх и отчаяние...

На горизонте переливались сочные бакинские огни, а в Баладжарах было холодно, голодно и неприютно. Толпами валили в город, но и там хлеба не было.

С моря перекатом шел воевой ветер и черным стоном штурмовал горы.

Из города – днем и ночью, на извозчиках, в автомобилях – приезжали агитаторы разных партий.

Солдаты все слушали с интересом, но в потоках ораторского красноречия и ругани они с большей жадностью вылавливали весточки о родине: в России спугнута учредилка, в России мужики громят помещиков, в России вовсю идет борьба из-за власти двух течений – большевики и буржуазия, по Кавказу горцы кричат: «Долой гяуров», в Чечне у каждого богача и у каждого разбойника своя партия – все друг друга режут, ингуши подняли белый флаг на покорность, а Дагестан предается исламу и Турции...

Паровозы рывкнули, солдаты, не дослушав длинной резолюции о поддержке большевиков, с криками: «Правильно! Правильно! Долой войну!» – стали разбегаться.

Поезда выматывались на простор.

Через каждый состав на паровоз была протянута веревка со звонком. Спали вполглаза. Чуть тревога – начинали звонки звонить, ружья палить, гудки гудеть. Отбивали нападение и катили дальше.

Стучали колеса

сыпались

станции

лица

дни

ночи...

Войска имели разгульный вид, везде народ, как пьяный, шумел.

– Якого полка?

– Пятнадцатого Стрелкового. А вы?

– Второго Запорожского.

– Ко дворам?

– Эге.

– Какой станицы?

– Платнировской.

– А мы, дядечку, расейские, Курской губернии, Грайворонского уезда... Буржуев едем крушить.

– Давай бог.

Слева торчали горы дагестанские, а справа – отвалом – голубыми вихрями пылал Каспий-батюшка...

На Хасав-Юрте фронтовиков встретили хуторяне. Путаясь в кожных, они бегали перед вагонами и на разные голоса причитали:

– Служивые, оборони... Родимые, защити.

– Что такое?

– Чечены нас забирают... Грабежи, убийство...

Собрали митинг и постановили – подать помощь от нападков чеченов. Дело было ночью. По направлению к горам постреляли из пушек, не сгружая их с платформ. Набрался отряд охотников, набросились на ближайший аул. Аул горит, трещит, искры сыплются, бабы и ребятишки воют, чечен стреляет до последнего.

Наменяли у мужиков хлеба на оружие и поехали дальше.

Чугунное тулово печки было раскалено докрасна. По закопченным стенкам теплушки полыхало жаром-заревом. Люди спали сидя, стоя – кто как сумел примениться к своему месту. Разморенный жарой Максим, обняв мешки, дремал на верхних нарах. Под drobный говор колес видел он себя на молотье: пожирая снопы, ровным стуком стучит молотилка; зерно, шипя, течет в уемистые мешки; в горьковатой хлебной пыли, обняв сноп, плывет Марфа; пышет солнышко, жилы в Максиме стонут, нутро дрожит...

Под утро Кавказ выпустил эшелон из своих каменных объятий, горы начали отставать, впереди снежной пеной закипела степь моздокская...

Ду-ду

уу

у

ууу...

– Вырвались с проклятья – Расея!

Стремительны и яростны мчались дни.

Пыль... Дым... Гром...

Чем дальше от фронта, тем солдат шел все озорнее. На разгромленных станциях сами грели кипятком, сами били звонки, давая самое скорое отправление всем поездам и на все стороны – катать!

На перегоне Хасав-Юрт – Моздок – Грозный путь во многих местах был разобран. На обе стороны от насыпи – торчмя, на боку, вверх колесами и всяко – валялись искалеченные, как детские игрушки, паровозы, цистерны, вагоны. По следам ремонтных летучек и саперных команд, восстанавливающих дорогу, крались, подобны шакалам, банды мародеров и снова сдирали рельсы, раскидывали шпалы. Поезда то вдруг срывались и летели, не тормозя ни на поворотах, ни под уклоны, – вагоны шатало, мотало, солдат било о стенки, сбрасывало с крыш и буферов; то, хрипя и натужась, паровозы вяло тащили длиннющие составы, часто останавливались и подолгу простаивали по брюхо в снегу. Некоторые казачьи части двигались в конном строю; другие шли походным порядком, соблюдая все меры предосторожности; были и такие, что шагали по шпалам, ведя за собою порожние вагоны в надежде раздобыть где-нибудь паровоз: большей частью это были сибиряки или уроженцы

центральных и северных губерний, здраво рассуждавшие, что ехать им не миновать и расставаться с вагонами не рука.

По ночам суровое – в клубах смолистого дыма – зарево охватывало полнеба: то с самого лета горели грозненские нефтяные промысла.

По всему Кавказу с треском разгоралась классовая, национальная и сословная война. Всплыли поросшие травой забвения старые обиды. Рука голодаря тянулась к горлу сытча. По горным тропам и дорогам переливались конные массы. Терек, Осетия, Ингушетия, Чечня, Карачай, Большая и Малая Кабарда были окутаны пороховым дымом, – в дыму сверкал огонь, сверкал клинок, – пожаром люто были объаты народы тех земель. Уже крутенько ярилась станица, косясь на город и грозя шашкою своему давнишнему недругу, жителю гор.

Бурно митинговали аулы.

На вокзалах, базарах, площадях возвращающиеся с фронта всадники Дикой дивизии, держась за кинжалы, вопили:

– Цар бляд! Цара не нада, земля нада!.. Казах бляд! Казах не нада, война нада!.. Земля наша, вода наша, Кавказ наша!

Казаки, как в старину, выгоняли скот на пастбища под сильной охраной, на курганы и на речные броды выставляли сторожевые посты, пойманных же на своей земле горцев резали, а иногда с веревкой на шее гнали до земельной границы, тут запарывали до полу-смерти и отпускали с наказом:

– Вот твоя граница, костогрыз. Помни, ядрена мать, и детям и внукам своим прикажи помнить. На мою землю ногу не ставь – отъем!

Караулов – наказной атаман терского казачьего войска, член Государственной думы – бросил клич:

– Казаки и горцы – братья. Казаки и горцы – хозяева Кавказа. Мужиков и всякую городскую рвань будем гнать с Кавказа плетями.

Фронтвики встретили Караулова на станции Прохладной – один вагон к паровозу прицеплен – и заговорили, заматерились:

– Как вы, господин атаман, казаков застаиваете, буржуи за царя глотки дерут, а кто же об нашем брате, мужике, подумает?

– Геть, чертяки! – зыкнул чубатый атаманов гайдук. – Не шуметь у вагона, их высокоблагородие изволят отдыхать.

Солдаты и усом не повели, еще крику прибавили:

– Как вы, господин атаман, азията с русским стравливаете, казака с рабочим и крестьянина с казаком стравливаете? Когда будет конец такому зверству?

В это время, с пучагой разноцветных депеш в руке, прибежал другой гайдук и, на ходу бросив машинисту: «Поехали», тоже исчез в вагоне.

Паровоз гукнул и зашипел, готовый вот-вот тронуться, но солдаты стояли на путях сплошной стеной и не думали уступать дорогу:

– Как так, господин атаман, вы один на паровозе туда-сюда раскатываетесь, а нам по-нужному ехать не на чем? Как вы по тылам мяса да жиры нагуливаете, а у нас с тоски и голоду отстает от костей последняя шкура?

Вперед протискался, припадая на перебитую ногу, инвалид и с ожесточением принялся колотить костылем по лакированной стенке вагона:

– Вылазь, гад! – Изможденное лицо его было измято злобой. – Вылазь, курва!

– Вылазь! – подхватили и другие. – Вылазь, нам самим ехать охота.

В окне показался заспанный, хмурый атаман. Некоторое время он молча глядел на беснующихся солдат, потом, полуобернувшись, что-то сказал своим гайдукам и...

– Пулемет! – дико завопил инвалид и, подхватив свои костыли, заковылял прочь.

И точно, многие увидали в окне вагона хобот пулемета... Тогда, сколько ни было на станции фронтовиков, все посрыгали из-за плеч винтовки и давай залпами садить в крытый синим лаком вагон. Так был казнен атаман Караулов. И вот уже он вместе с гайдуками выброшен на перрон, а издудырканый вагон до отказа набит солдатами, солдаты располагаются на крыше.

С паровозной будки говорит речь молодой казачок:

— Господа солдаты... Вам воевать надоело, и нам воевать надоело... Вы с фронта тикаете, и наш первый Волгский полк из Пятигорска чисто весь разбежался. Ваши генералы сволочь, наши атаманы сволочь, и городские комиссары тоже сволочь. Не хотят они нашего горя слушать, не хотят слез наших утереть! Отныне и до века не видать им нашего покура, не дожидаться нашего поклона! Они дорываются стравить нас, дорываются заквасить землю кровью народной. Не бывать тому! Их мало, нас много! Пообрываем с них погоны и ордена, перебьем их всех до одного и побежим до родных куреней — землю пахать, вино пить да жинок своих любить...

Речь та всем понравилась, пошло братанье солдат с казаками.

...Рядом же, вокруг загруженных пушками платформ, воровато шныряли кабардинцы в высоких папах, с нагайками в руках. Они не без робости заглядывали в начищенные стволы орудий, неуверенно трогали орудийные затворы, лафеты, щитовые прикрытия.

— Русский, продавай.

— Купи.

— Сколько берешь?

— Сколько убежишь.

— Зачем твоя шутишь?

Кабардинцы, присев на корточки в круг, совещались, бормоча все разом и шелкая языками. Потом снова осматривали орудия и снова спрашивали:

— Солдат, бушка стреляет? Пороха есть?

— Готова, заряжена. Подставляй башку, попробую пальну разок...

— У меня башка один, башка жалко... Стреляй, пожалуйста, туда на гору.

— Эка, пес, смыслишь?

— Продавай бушка?

— Зачем она тебе?

— Надо, бульно нада бушка. Ингуш — собака, чечен — собака, адыге — собака, натухай — собака... Иё-ёй, много туда-сюда собака, воевать буду, продавай!

— Покупай.

— Пачем?

— Руб фунт.

— Га, зачем твоя смеялся...

Рядились до ночи... А ночью артиллеристы растаскивали по вагонам связанных барашков и огромные лепехи овечьего сыру; потом считали и, ругаясь, делили серебро царской чеканки. С платформы на руках, чтоб грому лишнего не было, кабардинцы скатывали орудия и подпрягали в них уносливых коней. Погромыхая орудийными щитами, запряжки трогали, мчались в горы, зарывались в ночь и в ветер.

Потолкался Максим в народе, послушал, чего люди говорят, и вернулся к себе в теплушку: мешка с одежей не было, остался один ящик с солдатскими голосами.

— Вот так клюква, — огорченно крикнул он, усаживаясь на солдатские голоса, — совесть в людях пропала, прямо из-под рук рвут.

— Какая ныне совесть, — отозвался, прожевывая сало, ополченец, — позавчера под Дербентом своих раненых не подобрали.

– Срамота, – опять сказал Максим, – эдак будем друг у друга шапку с головы воровать, так и свобода нам ни в честь, ни впрок, все в цыганску партию угодим.

– Во, во, – согласился ополченец и покосился на урну: – Чего везешь?

– Голоса.

– Чево-о?

– Голоса солдатские.

– Ааа... Чудно дядино гумно: семь лет хлеба нет, а свиньи роются.

– Чудно, да не больно.

– А я думал, торгуешь чем... Какая тебе от них корысть?

– Депутат. В учредилку представить должен.

– Э, милоч, хватился. Али не слыхал, в Грозном носатый парнишка-то высказывал: тю-тю учредилка, палкой по боку ее. Ныне на всей Расее верхом большевики сидят, а это, брат ты мой, такие люди, такие люди... из одного кулака пряник кажут, а другим по харе мажут... И тебя, братец, за твои шанцы не похвалят, не побоятся твоих рыжих усов.

– Цыц! – вскочил голодный Максим, свирепо глядя на засаленные до ушей щеки ополченца. – Драть я их хотел: и большевиков, и меньшевиков, и тебя, дурака, вместе с ними! Никаких шанцев у меня нет. Полк послал меня, полк доверил мне голоса свои, и я сдам их честь по чести куда следует.

– Эка, осатанел! – попятился ополченец. – Я што, я ничего, мое дело ахово...

На полке

рр...

Под полкой

ррр...

Из темного угла веселый голос:

– Батарей, огонь!

И пошла потеха.

– Дьявола, дверь открой, дышать нечем.

Ополченец, творя молитву на сон грядущий, угнезживался спать. Скоро с подсвистом и перехватами захрапел и весь вагон. На одной из остановок Максим посадил молодого гармониста, который обещался даром играть до самого Армавира.

– Ну-ка, ну, тряхни, – попросил Максим, усаживаясь на нарах поудобнее. – Я ведь тоже игрывал, когда холостым ходил. У меня трехрядка саратовская была, с колокольчиками... Как, бывало, пустишь – отдай все – и мало!

Гармонист вывязал из скатерти ливенку, закинул ремень на плечо и, рванув мехи, пустил звонкую трель.

Печка остыла, людей тревожил холод, будила гармонь. Крякая, харкая и зевая спросонок, они подымались, свертывали закурки и молча, с явным удовольствием, слушали. Трепаная, протертая на углах ливенка рассказала про Разина-атамана, про горюшко бурлацкое. Гармонист переиграл все переборы и вальсы, какие умел, перепел все песни, какие помнил, и, отложив гармонь, принялся разжиглять печку. В сыром сизом дыму проблеснул огонь, заревел огонь в жестяной трубе и растопил молчание. Вострый на зуб, конопатый фельдфебелишка окликнул гармониста:

– Эй ты, кепка, семь листов, одна заклепка, чей будешь?

– Я?... Я – армавирский.

– Играешь, значит, веселишь народ?

– А что нам, малярам, день марам, неделю сушим.

– Ездил далека ли? – И он добавил горячее словцо.

Кто-то засмеялся, а парень отшутился:

– Аяй, дядя, какой ты дошлый, а ну, умудрись, – пымай в ширинке блоху, вошь ли, насади ее фитой и держи за уши, пока ворона не каркнет...

Они перебросились еще парой-другой злых шуток, и фельдфебелишка, истощив свое красноречие, отстал.

Гармонист поставил гармонь на коленку и, тихонько перебирая лады, начал было рассказывать про гулянку на сестриной свадьбе, со свадьбы он и возвращался. Его перебили голоса, полные зависти и скрытой обиды:

– И воюй там...

– Тыл он и тыл. Мы воюем, а они жируют...

Обуреваемый веселыми воспоминаниями, гармонист откинул полу поддевки и лихо топнул ободранным лакированным сапогом, как бы показывая, что хоть сейчас готов и в пляс пуститься.

– Эх, земляки, время идет, время катится, кто не пьет, не любит девок, тот спохватится! Всех тамошних плясунов переплясал, и сейчас еще пятки гудят... Дело мое молодое, дело мое холостое, завод закрылся – самое теперь время погулять да по горам, по долам с винтовочкой порыскать...

– Ехал бы под турка, там есть где порыскать.

– Мне турки не интересны. Мне интересно контрика соследить и хлопнуть. Третий месяц с ними польщемся.

– С кем, с кем, сынок, польщетесь?

– Да с казаками, с офицерней... То во славу контрреволюции восстание поднимут, то забастуют по станицам и хлеба в город ни пылинки не везут, а нам без толку помирать не хочется.

– Так ты красногвардеец?

– Так точно.

– Расскажи нам, что вы есть за люди и какая у вас цель? Всю дорогу звон слышим, а разобраться не можем...

– Хитрости тут никакой нет. Мы – за Советы и за большевиков... Наша программа, товарищи, самая правильная, коренная...

– Вон што...

– Так, так...

– А по сколько вы хлеба получаете?

– Кисель, сметана и все на свете наше... Товарищ Ленин прямо сказал: грабь награбленное, загоняй в могилу акул буржуазного класса. Да... Хлеба по два фунта на рыло получаем, сахару по двадцать четыре золотника, консервов по банке, а жалованье всем одинаково – и командиру и рядовому одно жалованье и одна честь.

Пожилой солдат, с широкой и рябой, как решето, рожей, подошел к красногвардейцу и, тыча ему в глаза растопыренными пальцами, вразумительно сказал:

– Сынок, не программой надо жить-то, а правдой...

Мало-помалу в разговор ввязались все и заспорили, какая партия лучше. Кому нужна была такая партия, чтоб дала простому человеку вверх глядеть; кому хотелось сперва по земле научиться ходить; а кому никакая партия не была нужна и ничего не хотелось, кроме как до дому довалиться, малых деток к груди прижать да на родную жену пасть... Одни одно кричали, другие другое кричали, а гармонист свое гнул.

– Партии, – говорит, – все к революции клонятся, да у каждой своя ухватка и выпляс свой... Эсеры, лярвы, хорошая партия; меньшевики, гады, не плохи; ну, а большевики, стервы, всех лучше... Эсеры с меньшевиками одно заладили и знай долбят: «Потише, товарищи, потише», а мы как гаркнем: «Наддай пару, развей ход!» Таковой наш клич по всей России огнем хлестнул – рабочий пошел буржуя бить, мужик пошел помещика громить, а

вы... вы фронт поломали и катите домой... Наша большевицкая партия, товарищи, дорого стоит. У нас в партии ни одного толсторожего нет; партия без фокусов; партия рабочих, солдат и беднейших крестьян. Я вас призываю, товарищи...

– В тылу вы все герои! – визгливо закричал, прочихавшись после понюшки, шухорный фельдфебелишка. – В заводы да фабрики понабились, как воробьи в малину, и чирикаете: «Война до победы». Три года тут бабки огребали, на оборону работали, а теперь пришлось узлом к гузну, вы и повернули: «Мы-ста, товарищи, да вы-ста, товарищи». Как мы замерзали на перевалах и в горах Курдистана, вы не видали?.. Как мы умирали от цинги и тифу, вы не видали?.. Слез наших и стонов вы не слышали?

– Нечего нам друг на друга ядом дышать, – сказал Максим, – время-то какое...

– Время такое, что – ну! – подхватил гармонист. – Дух в народе поднялся. Каждый в себе силу свою услышал. У вас вчера фронт был, у нас нынче фронт. Вы там кровь роняли, нам придется тут еще больше крови уронить: что ни город – фронт, что ни деревня – фронт, изо всех щелей контра лезет... Вас палками гнали на фронт, а у нас с завода больше половины мастеровых добровольцами записались и прямо с митинга – с песнями, граем – пошли на позицию. К отряду нашему и с воли желающие начали приставать, но многим из слободских не идея была интересна, а нажива... Занимаем, господа благослови, первую станицу: поднялась стрельба, все бегут, от испугу одна корова сдохла, жители плачут и думают, что пришел свету конец... Давай право отбирать оружие и делать обыски. Тут-то и был получен декрет Крыленки малодеров расстреливать. Подставили мы одного ухверта к забору, он говорит: «Дай последнее предсмертное слово». Дали ему слово. Но от испуга он больше ничего не мог выговорить, и его застрелили. После этого обыски были честные, и никто нигде не запнулся. Переночевали мы в станице, утром получаем приказ: «Поднимай батарею, отходи на заранее приготовленные позиции». Подхватили мы свои бебехи и с радостью давай отступать. В тот же день двое из наших ребят умерли от хлеба со стрихнином, как было признано медициной. А хлебом нас угостили казаченьки, во гады...

– Опять война, – вздохнул кто-то, – что-то уж больно мы развоевались, удержу нет... Ну, а как, сынок, русскому русского бить-то не страшно?

– Сперва оно действительно вроде неловко, – ответил красногвардеец, – а потом, ежели распалится сердце, нет ништо... Дратся с казаками трудно, они с малых когтей к оружию приучены, а наш брат чумазый больше на кулаки надеется. Под станицей Отважной бросилась на нас в атаку казачья сотня в пешем строю. Мы лежим в окопах, стреляем, а они идут во весь рост. Мы знай свое, стреляем, а они – невредимы. С нас пот льет градом, стреляем, а они – вот они! – совсем рядом, саблями машут и «ура» кричат. Видим, дело хило. Вылезаем мы из окопов, берем винтовки за раскаленные дула, да к ним навстречу, да как начали их по чубам прикладами глушить... Шестерых у нас тогда ранили да слесаря Кольку Мухина зарубили, ну и мы им задали чесу, будут помнить.

Рассказчика тесно обступили и вперебой принялись выпрашивать про Россию: можно ли проехать в ту или другую губернию, где и с кого получать недочеты полкового жалованья и кто и почему фронтовиков разоружает.

– Мы разоружаем.

Загалдели, заматерились...

– Здорово живешь... А вы нас вооружали?

– Как ты смеешь у меня отбирать винтовку, когда я, может быть, сам хочу с буржуями воевать? Да я...

– Не горячитесь, земляки. Я вам сейчас все это объясню... Оружие мы раздаем дорогим нашим революционным войскам и с приветом отправляем их на Ростовский фронт. На Дону против революции восстали генералы, офицеры, юнкarya. На Дону война идет на полный ход.

Нам не сдадите оружие, поедете дальше в Кубанскую область, там вас все равно полковник Филимонов разоружит.

– Какой такой полковник? Душа из него вон. Мало мы их покувыркали?..

– Тут дело простое – у нас власть советская, а у казаков власть кадетская... Дон, Кубань и Терек большевиков не признают... У нас – совдепы, у них – казачий круг и самостийная рада. Они дрожат над кучкой своего дерьма, а мы кричим: «Вся Россия наша...» Филимонов есть войсковой атаман кубанского казачества. Он спаривает войсковой круг с радой, рада Кубанская сговаривается о чем-то таком с Украинской радой, но мы раз и навсегда против всей этой лавочки... Нам с ними так и так царапаться придется. Сейчас, ничего не видя, и то бои кругом идут: на Тамани бои, на Кубани бои, на Дону бои... Как у вас титулованье? – спросил красногвардеец.

– «Господа», – ответили солдаты хором.

– Долой господ... По декрету полагается называть друг друга товарищем.

– Нам все равно, товарищ так товарищ, только бы вот недочеты полкового жалованья выдали да хлеба на дорогу...

Максим побарабанил согнутым пальцем по ящику с голосами и спросил красногвардейца:

– Выходит, зря голосовали мы?

– Зря, землячок.

– Как так?.. Не мог же целый полк маху дать?

– Вся Россия, брат, маху дала... Давно бы нам...

Паровоз заржал, разговор оборвался, и двери теплушек распахнулись навстречу городу.

Над крышами домов рвалась шрапнель, где-то совсем близко застучали пулеметы: с высокого закубанского берега восставшие казаки станицы Прочноокопской обстреливали город.

На перроне толкались красногвардейцы, одетые в вольную одежду и обвешанные оружием.

Эшелон медленно подходил к вокзалу.

Забитые пылью, задымленные теплушки – в скрипе разошедшихся ребер, в кляцанье цепей, в железном стоне своем – напоминали смертельно уставшую от большого перехода партию каторжников. Из теплушек на ходу выпрыгнули несколько солдат и, размахивая котелками, кинулись за кипятком.

– Бомбы! Бомбы! – завопил один из красногвардейцев, приняв котелки за бомбы, и – бежать... За ним, срывая с себя ремни и оружие, последовали и товарищи. Вослед им, подобен каменному обвалу, грянул хохот... Смущенные гвардейцы возвращались, разбирали и опять навешивали на себя брошенное оружие, подсумки с патронами, разыскивали потерянные калоши.

Встречать прибывший эшелон вылетел комендант станции в шинели нараспашку, с наганом в руке.

– Приветствую вас! – багровея от натуги, заорал он. – Приветствую от имени... от имени Армавирского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов... Герои эзэ-румских высот... Защитники дорогого отечества... Долой погоны! Сдавай оружие!

Кругом

серым-серо́. Ходи, Расея!

заорали, засвистали:

– Рви погоны!

– Ложи оружие!

– Галуны и погоны до-ло-о-ой под вагоны!

Столбы, заборы, стены были сплошь уклеены плакатами, декретами и воззваниями к трудящимся народам всего мира.

Всем, всем, всем!
Читай и слушай.
Все наружные отличия отменяются.
Чины и звания упраздняются.
Ордена отменяются.
Офицерские организации уничтожаются.
Вестовые и денщики отменяются.
В Красной гвардии вводится выборное начало.
Мир хижинам! Война дворцам!

Товарищи! —
через горы братских трупов,
через реки крови и слез,
через развалины городов и деревень, —
руку, товарищи!

Штыки в землю!
Под удар — царей!
Под удар — королей!
Срывай с них короны и головы!
Пролетарии всех стран, соединяйся!

Фронтовики принялись срезать у себя погоны и нашивки, хотя многим и жалко было: тот младший унтер-офицер, тот фельдфебель, у кого кресты и медали — домой всякому хотелось показаться в полной форме.

На путях по вагонам сидели казаки и не хотели сдавать оружие. Красногвардейцы, в среде которых были и солдаты из понимающих, выкатили на мост пулеметы и поставили казакам ультиматум: «Сдавай оружие».

Гудки дают тревогу
народ бежит
казаки дрогнули
и сдались.

Со стороны города слышалось: «Ура! Ур-ра!» Откуда-то на шинелях несли раненых.

— Ну, что? Как там?

— Отбили.

— Велик ли урон?

— Бой был боем Турецкого фронта с пулеметным и орудийным огнем, трое суток без передышки. Будь они прокляты!

Максим отправился на поиски хлеба.

Воинские продовольственные лавки были разгромлены. Около заколоченного досками питательного пункта с аттестатами в руках бродили фронтовики. Горестно ругаясь, понося новые порядки и размахивая принесенными на менку рубахами и подштанниками, солдаты табунами шли на базар.

Хлеба не было ни на базаре, ни в городе. Обкрадываемые торговки на базар глаз не казали, а городские лавочники отсиживались за дубовыми дверями и, гоняя чаи, выискивали в священных книгах роковые сроки и числа.

На базаре было весело, как в балагане.

Спозаранок на пустых хлебных ларях, на солнечном угреве сидели солдаты, вшей били и, давясь слюной, про водку разговаривали: все уже знали, что на станции Кавказской счастливы громят винные склады.

Через толпу пробирался бородатый красногвардеец – винтовка принята на ремень, на штык насажен кусок сала и связка кренделей. Молодые казаки остановили и окружили бородача.

– Купи, дядя, офицера?

– Какого офицера?

– Хороший офицер, нашей второй сотни офицер, но для беднейшего сословия вредный. Мы его пока заарестовали и содержим в своем эшелоне, под охраной.

– Зачем он мне?

– Расстреляешь.

– А вы – сами?

– Он перед нами ни в чем не виноват.

Пока разговаривали, один из казаков срезал у бородача со штыка и крендели, и сало, другой – вынул затвор из винтовки.

– Так не купишь офицера?

– Нет... Мы их и некупленных подушим, наших рук не минуют.

– Ну, прощай... А затвор-то у тебя где? Пропил?

Тот схватился – нету затвора.

– Отдайте, ребята...

Посмеявшись над бородачом, променяли ему его же затвор за осьмушку махорки.

На расправу базарного суда приволокли мальчишку, укравшего подсумок с песенником и рваной гимнастеркой. За утро на базаре убили уже двоих: картежника, игравшего на наколку, и какого-то прапорщика. На оглушенного страхом мальчишку рука не поднималась. Покричали-покричали и решили:

– Петь и плясать ему среди базара до темной ночи.

А один весельчак добавил:

– Ночью иди опять воруй, только не попадайся.

Блеснули теплые глаза мальчишечьи, закипели зубы в крике:

В арсенальном большом замке

Два солдатика сидят...

Оба молоды, красивы,

Про свободу говорят...

Откуда-то опять пронесли и провели под руки раненых. Голодный и разбитый в мыслях Максим сорвал с урны сургучную печать и на все солдатские голоса выменял у бабы коврижку ржаного хлеба. Присев в сторонке, он разломил хлеб – одну краюху сунул в карман, другую принялся есть над горсточкой, не теряя ни крошки.

Погром на базаре начался с пустяков.

– Почем селедка?

– Четвертак.

– Заверни парочку для аппетита.

– Изволь.

Завернутые в листок солдатского голоса селедки нырнули в шинельный рукав.

– Служивый, а деньги?

– Деньги?.. Да ты, тетка, ошалела?.. Уплочены деньги, али другие хочешь согнуть?

Торговка солдата за жабры:

– Подавай денежки, разбойник!

– Это я-то разбойник? – обиделся солдат.

Развернулся

цоп бабу по уху.

Покатилась баба в грязь и завизжала на всю губернию, а из-за пазухи у нее на грех и вывалились два каравая хлеба.

Скрипнул зуб, рывкнула глотка солдатская:

– Ах ты, нация-спекуляция... Эдак народ мучится, а у нее за пазухой целый кооператив.

Хлеб разорвали и проглотали в мгновение ока.

Под ударами прикладов загремела первая разбиваемая лавка, а потом – пошло.

Штык к любому замку подходил.

Все базарные лавки в два счета были развалены и товары раскуплены – колбаса, конфеты, табачок, фрукты, – помалу досталось, а кровушки за три года пролили эва сколько, горького хлебнули досыта: конфеткой тут не заешь... Помитинговали-помитинговали и шайками потекли в город.

– Должон быть хлеб.

– Должон... Деться-то ему некуда, не вихрем подняло в самом деле?

– Это они умно придумали, поморить солдат голодом...

– Хлеба много, тут на вокзале один старичок сказывал... Весь хлеб, слышь, большевики немцам запродали... Хлебом все подвалы забиты.

– Врут, не спрячут, солдат найдет.

– Ох, ребята, бей да оглядывайся...

В городе голодные разгромили несколько пекарен, тем все и окончилось.

В вокзале митинг.

С речами выступали и сторонники разных партий, и так просто, любители. Кто хотел слушать, тот слушал. А кто пришел под крышу погреться или выспаться – они сидели и лежали на мешках и мирно беседовали. Меж ними шнырял мальчишка и, как фокусник мячами, играл словами:

– Эх, вот махорка, корешки, прочищает кишки, вострит зрение, дает душе ободрение, разгоняет в костях ломоту, потягивает на люботу, кровь разбивает, на любовь позывает, давай налетай – двугривенный чашка...

По буфетной стойке бегал, потряхивая длинными волосами и размахивая руками, оратор:

– Товарищи и граждане! Десять тысяч солдат Турецкого фронта избрали меня на почетный пост члена армейского комитета... Товарищи и граждане! Преступный и позорный Брестский мир толкает свободную родину в пучину гибели. Россия – это пароход, потерпевший в море крушение. Мы должны спасти гибнущую страну и самих себя. Довольно розни и вражды. Большевики хотят стравить вас с такими же русскими, как и вы сами. Позор и еще раз позор! Народу нужна не война, а образование и разумные социальные реформы. Товарищи и граждане...

Солдаты торопливо, ровно на подряд, грызли семечки, угрюмыми волчьими глазами щупали жигилястую фигуру оратора, посматривали на его затянутые в чистенькие обмотки дрыгающие ноги и по множеству лишь им и ведомых мелких признаков решали: стерва, приспешник буржуазии.

Потеряв терпение, на буфет вспрыгнул небольшой, но крепкий, как копыл, солдат. Он решительно отодвинул жигильястого в сторону и взмахнул рукавами.

– Братаны... – Распахнулась надетая на голое тело шинель, на расчесанной груди чернел медный крест. – Братаны, расчухали, куда он гнет и чего воображает?.. Не глядите, что член какого-то комитета: мягко стелет, да жестко будет спать. Он есть гнилой фрукт в овечьей шкуре... Расписывал – заслужили, мол, вы славу, доблесть...

Скрестились крики, подобны молниям:

– Заслужила собака удавку... Вшей полон гашник.

– Он, поди, из офицеров?.. Харя-то больно чиста да строга.

– То же и Керенский бóтал...

– Гражданин, – вскинулся жигильястый, – вы не имеете права... Керенский – сын русской революции.

– Сукин сын! – озлобленно и гулко, как из бочки, выкрикнул новый оратор.

Грянул

хохот...

Рукоплесканиями, криками одобрения слушатели приветствовали острослова: в широких вокзальных окнах с дрогу звенели и дребезжали еще не выбитые стекла.

Солдат поддегивал спадающие стеганные штаны – за горбом звякал котелок с кружкой – и говорил... Говорил он громко, раздельно, чтоб всем и слышно и понятно было:

– Братаны... Я фронтовик тридцать девятой пехотной дивизии Дербентского полка. Дивизия наша по всему Ставрополью и кое-где по Кубани ставит на ноги молодую советскую власть... Полк наш расквартирован тут недалеко, на хуторе Романовском... Я приехал сюда для связи... Под Ростовом действительно фронт стоит, под Екатеринодаром фронт стоит, домой нам проходу нет... Братаны, чего вам тут сидеть и кого ждать?.. Кто немошен духом, слаб телом – сдавай винтовку... Остальные, как один, организуйся в роты, батальоны, полки... Затягни за собой всех своих товарищей, зятьев и братьев... Выбирай командира, получай денежное, приварочное и чайное довольствие и – налево кругом марш... Выпускай из буржуа жирную кишку, поддерживай молодую свободу согласно декрета народных комиссаров... Али вы хуже других?.. Али чужими руками хотите жар загребать?.. Али вам свобода не мила?

– Мила, мила.

– Едем, товарищи... Кому и быть дружным, как не нам, фронтовикам?

– Известно... Артелью не пропадем.

– А домой-то когда же?

– Домо-о-ой?.. Али давно бабу не доил?

– Буржуев и в России много. Проканителемся тут, а там без нас всю землю поделят и всю воду отсвятят.

Желающие стали записываться в отряд... Кого речь прошибла, кому хотелось быть поближе к дому, а кто и спал и видел, как бы на станцию Кавказскую до водки добраться.

Записался в отряд и Максим.

Долго выбирали командиров, потом разместились по вагонам и подняли хай:

– Давай отправление!

– Мы записались не гарнизонную службу нести!

Продукты розданы, речи сказаны, эшелоны отваливали с музыкой, с криком – ура! ура! – и со стрельбой вверх.

И снова замелькали, закружились телеграфные столбы, верстовые будки, курганы, кусты, овражки...

Солдаты в вагонах, солдаты на вагонах, солдаты на буферах и так по шпалам шайками текли. По дорогам в телегах и на линейках скакали казаки, хуторяне, бабы, шли старые и малые – с бутылками, четвертями, с ведрами, кувшинами, будто на Иордань за крещенской водой.

На Кавказской – скопище людей, лошадей, эшелонов. Дальше ходу не было: под Ростовом фронт стоял, и в сторону Екатеринодара партизаны рыли окопы, отгораживаясь от Кубанской рады.

За станицей, перед винными складами, день и ночь ревмя ревела, буйствовала пьяная многотысячная толпа. Солдаты, казаки и вольные недуром ломились в ворота, лезли через кирпичные стены. Во дворе упившиеся не падали – падать было некуда, – стояли, подпирая друг друга, качались, как гурт скота. Некоторые умудрялись и все-таки падали; их затапывали насмерть.

В самом помещении пьяные гудели и кишели, будто раки в корзине. Колебался свет стеариновых свечей, на стенах под сетками поблескивали термометры и фильтры. В бродильных чанах спирт-сырец отливал синеватым огнем. Черпали котелками, пригоршнями, картузами, сапогами, а иные, припав, пили прямо как лошади на водопое. В спирту плавали упущенные шапки, варежки, окурки. На дне самого большого чана был отчетливо виден затонувший драгун лейб-гвардии Преображенского полка в шинели, в сапогах со шпорами и с вещевым мешком, перекинутым через голову.

У одного бака выломили медный кран, живительная влага хлынула на цементный пол. Кругом блаженный смех, объятья, ругань, слезы...

Во дворе жаждающие ревели, подобно львам, с боем ломились в двери, в окна:

– Выходи, кто сыт... Сам нажрался, другому дай!

– Сидят, ровно в гостях.

– Допусти свинью до дерьма, обожрется...

В распахнутом окне третьего этажа стоял, раскачиваясь, старик в рваном полушубке и без шапки. В каждой руке он держал по бутылке – целовал их, прижимал к груди и вопил:

– Вот когда я тебя достал, жаланная... Вот оно коко с соком...

Старик упал на головы стоящих во дворе, сломал спинной хребеток, но бутылок из рук не выпустил до последнего издыхания.

Из подвального люка вылез хохочущий и мокрый как мышь, весь в спирте, солдат. Грязны у него были только уши да шея, а объединенная спиртом морда была сияюща и красна, будто кусок сырой говядины. Из карманов он вытаскивал бутылки, отшибал у них горлышки, раздавал бутылки направо-налево и визгливо, ровно его резали, верещал:

– Пей... Пей... За всех пленных и нас, военных... Хватай на все хвосты, ломай на все корки... Ээ, солдат, солдат, солдатины...

Водку у него расхватили и, жалеючи, стали выталкивать со двора вон:

– Землячок, отойди куда в сторонку, просохни, затопчут...

– Я... Я не пьян.

– А ну, переплюнь через губу!

– Я... я, хе-хе-хе, не умею.

Вытолкали его из давки, и он пошел, выписывая ногами мыслете и подпевая с дребезгом:

Всю глубину материнской печали
Трудно пером описать.

Тут драка, там драка: куда летит оторванная штанина, куда – рукав, куда – красная сопля... Сгоряча – под дождем и снегом – шли в реку купаться, тонули. Многих на рельсах

подавило. Пьяные, разогнав администрацию и служащих, захватили вокзал и держали его в своих руках трое суток.

Ночью над винными складами взлетел сверкающий серебристый столб пламени... В здании – взрывы, вопли пьяных, яростный и мятежный пляс раскованного огня.

Огромная толпа окружила лютое пожарище и ждала, все сгорит или нет. Один казак не вытерпел и ринулся вперед.

– Куда лезешь? – ухватили его за полы черкески. – Сгоришь...

– Богу я не нужен, а черту не поддамся... Пусти, не сгорю, не березовый! – Оставив в руках держателей черкеску, он кинулся в огонь. Только его и видали.

Тревожное ржанье коней разбудило Максима, – спал он в теплушке, у коней под ногами, – на вокзальных окнах и на стенках крашенных вагонов играли блики пожарища. С похмелья Максима ломало, зуб на зуб не попадал... Казаки из теплушек коней тянули, суммы тянули и – домой. Солдаты-кубанцы запасались водкой на дорогу, собирались в партии и тоже уходили в степь.

К одной партии пристал и Максим.

Из Турции и Персии, с засеянных костями и железом полей Галиции, из гнилых окопов Полесья и сожженных деревень Прикарпатской Руси, с Иллукских укреплений и с залитых кровью рижских позиций – отовсюду, как с гор потоки, устремлялись в глубь мятущейся страны остатки многомиллионной русской армии. Ехали эшелонами, шли пеши, гнали верхами на обозных лошадях, побросав пушки, пулеметы, полковое имущество. По пустыням Персии и Урмии, по горным дорогам Курдистана и Аджаристана, по большакам и проселкам Румынии, Бессарабии и Белоруссии – двигались целыми дивизиями, корпусами, брели малыми ватагами и в одиночку, скоплялись на местах кормежек и узловых станциях, тучами облегли прифронтовые города.

На Киев и Смоленск

Калугу и Москву

на Псков, Вологду, Сызрань

на Царицын и Челябинск

Ташкент и Красноярск

летели солдатские эшелоны, как льдины в славну вёсну!

Над Кубанью-рекой

*В России революция – по
всей-то по
Расеюшке грозы гремят,
ливни шумят.*

Меж двух морей, подобен барсу, залег Кавказ.

Когда-то орды кочевников топтали дороги Кавказа; выделанная из дикого камня дубина варвара дробила иранскую и византийскую культуру, и монгольский конь грудью сшибал тысячелетних богов Востока. От моря до моря развевались победные знамена персидских владык и деспотов. Полчища Тимура, словно поток камней, увлекаая за собой малые народы, перекашивались через горные кряжи. До сверкающих роскошью пышных городов Закавказья арабы докидывали мечи свои. Ученья фанатиков и языческих пророков, как яростная чума, захлестывали страну и опрокидывали веками возводимые твердыни ислама и христианства. В веках – земля ломилась, камень кипел под конским копытом, рев бесчисленных орд, свист каменных ядер, грохот падающих крепостных стен, – сметая целые народы, вытаптывая пирующие царства, походом шла слепая кровь.

Под бок к Кавказу привалилась толстомясая Кубань.

Когда-то прикумские и черноморские степи были безлюдны. По зеленому приволью, выискивая гнезда любимых трав, с визгом и ржаньем бродили табуны гордых диких коней. По заоблачью одиноко мыкались сизые орлы; из-за облака хищник падал на добычу стремительнее, чем клинок падает на обреченную голову. По рекам и озерам дымились редкие становища медноликих кочевников, перегоняющих с места на место неоглядные отары овец. Порою, вперегонышки с ветром, проносилась налетная разбойничья ватага. Да от дыма к дыму, сонно позвякивая бубенцами, пробирался невольничий караван восточного купца, щеки которого были нарумянены, зубы и ногти раскрашены, а борода завита в мелкие кольца.

Года бежали, будто стада диких кабанов.

Когда-то на Дону и в днепровских запорогах казаковали казаки, обнеси-головы. Жили они жизнью вольною: сеять не сеяли, а сыты были, прясть не пряли, а оголя пуза не хаживали; по лиманам и затонам казаки рыбу ловили, зверя по степи гоняли, вино пили и войны воевали. Не давали казаки покою ни хану крымскому, ни царькам ногайским, ни князьям черкесским, ни султану турецкому, ни самому царю московскому. Челны удалцов – под счастливыми парусами – летывали и в Анатолию, и к берегам далекой Персии, а коней своих добытчики паивали и в Аму-Дарье, и в быстром Дунае. На Волге понизовые голюшки купцов и воевод царевых перехватывали, корабли орленые топили, города расейские и басурманские рушили, всякой смуте и мятежу были казаки первые задиришки.

А в кременной Москве сидел грозен царь.

Царство Московское крепло и расширяло владенья свои. Под ноги царю русскому катились вражьи города и головы. Сломив могущество Пскова и Новгорода, Казани и Астрахани, царь замирил и привел в покорность ногаев и чухонцев, крымчаков и сибирцев и многие народы иных земель. Не корилась Москве одна казачья вольница. Жили казаки по вере и заветам отцов своих, дани ни князю, ни боярину не даывали, дела решали на кругу. Гордая Москва невзлюбила того духа и, собравшись с силами, огневом боем ударила по гнездам соколиным... Закачался Дон, закачалось Запорожье, задрожала степь от конского топуга пушечного грома, запылала степь пожарами горькими... Своеволье одних атаманов срубил топор палача, другие – пали на колени, выпрашивая монаршей милости; а иные, подняв свои

коши на коней, гикнули и, умываясь слезами, ушли в Туречину. Опальные казаки, спасаясь от кнута и батога, бежали на Тамань, Кубань, Терек, на Волгу и за Волгу на Яик. И долго еще, мстя за бунт Разина, Булавина и Пугача, цари выкуривали казаков с насиженных мест и засылали их в далекие степи Запольные, повелев укрепления строить и крестить Неверов – кого крестом, кого шашкою, – земли у них отнимать и богатство их разорять.

Гремел и сверкал поток времени.

Страну давила неметчина, объедал помещик, утеснял патриарх. Из Руси, по многим сиротским дорогам, на привольное житье украин бежали крепостные смерды и «упорствующие в злосмрадных ересьях воители за веру Христову». Над степью, грозя сияющим крестом далеким горам, вставали куренные поселки и раскольничьи скиты. Далеко ушли казаки, раздвигая рубежи русские, но всесильная рука царя всюду доставала повольников. Мало-помалу казаки были переписаны, в мундиры обряжены, медалями обвешаны, к присяге склонены и полевой службой обязаны. Милостивыми грамотами, земельными и рыбными угодьями царь подарил старшин, выборных атаманов заменил назначенными и сословья утвердил – так вольное казачество было перестроено в войско верных казаков. Ордынцы защищали каждый камень и каждый клочок своих пастбищ. Дикое ржанье коней, всплески клинков и крови сияющее зарево. Под напором русского штыка ломились аулы. Сапог русского солдата топтал зеленые знамена полумесяца, и казак – добывая себе славу, а царю богатства – шашкой врубался в сердце Азии.

Мутнѣхонька, быстрѣхонька бежит-гремит Кубань-река, а впристяжку с ней ухлѣстывают люты речки горные, стелются протоки малые. Шумные станицы да сытые хутора – всеми тополями своими, ветряками, садами, столетними дубами и сонными волами – смотрелись в быстрые воды Кубани.

С году на год станицы отстраивались церквами, каменными домами, паровыми мельницами, маслобойными и шерстобитными заводами. Из края в край шумели богатые ярмарки, лавки ломились от купецкого добра, ссыпные лабазы и элеваторы под горло были набиты хлебом, целые реки кубанской пшеницы текли на рынки Европы и Азии. С осенних заморозков до Великого поста от Тамани до Каспия по широким шляхам тянулись чумацкие обозы: гам, песня, хлопанье кнутов, в ярмах качались круторогие воловы головы, стояли тяжелые возы, груженные зерном, рыбой, солью, строевым лесом, сапожным и щепным товаром.

Полыхали зимы морозами.

Вьюга несла со степи снежные знамена. Заметенные буранами станицы отгуливали свадьбы, крестины, именины и престольные праздники. В жарко натопленных светлицах прогуливали ночи напролет, ели невпродых, пили вина своей давки, распевали старинные и войсковые песни, до седьмого пота плясали прадедовские – времен Запорожья – лихие пляски.

А там прилетала и весна, ласковая да горячая.

Курганы первыми освобождались от зимнего плена. Одряхлевшие снега, покрываясь мертвенной синевой, прятались под кусты, сползали в овражки, где и гибли, сраженные гремучими ручьями. Зима, напрягая силы, еще оборонялась. По ночам зима облетала повитую тревожными снами землю и строила козни: где морозный узор наведет на окно, где подсушит лужицу, где закует во льды зажорину, где частым инеем усыплет поле, тут заметет мокрым снегом крепко уснувшую собаку, там студеным дыханием остановит бег ручья... Но лишь проблеснет заря и брызнут искры рассвета, зимушка без оглядки пускается в бегство – вдогонку ей несутся птичьи щелканы, горланят петухи, и солнце мечет блестящие копыта. На обсохшие головы курганов все чаще и чаще опускались отдыхать стайки жаворонков, этих отважных разведчиков грядущего тепла. На межах в трепете распрямлялись голые былинки.

Мелкие степные зверюшки, вырвавшись из черной неволи, грелись около своих нор. Зима в страхе пятилась, отступала в горы, на коренное становище, и отсюда – взметывая стужу со дна ущелий, срывая сверкающие снега с заоблачных высот, окруженная преданными полчищами мутных мартовских метелей – с воем кидалась зима в битву на равнины, и тут бесславно гибла разорванная в клочья и пену хладная сила. Корежило, ломало льды, трескали льды, всплывали льды, поднятые талою водою. Озера и лиманы, дрогнув первой свинцовой рябью, распахивали объятия свои навстречу весне. Разливалась Кубань. Взыграв, рвала Кубань берега, выметывала зелены острова, легко несла пышные воды свои. Выпущенные из птичников, гуси и утки срывались, летели на большую воду – из-за птичьего гогота и крика не слышно было человеческого голоса. Застоявшаяся за зиму скотина, задрав хвосты, выносилась за околицу, на желанное приволье – ржанье, рев, бляенье, – всяк язык славил весну-красну.

Хороши, горячи кони, мчащие весну.

Над степью, охраняя ее покой, стлались ветра-зимогоны. Синё дымилась, подсыхала степь. Станичник, помолясь, выезжал на пашню.

Неделя, другая – и вот уже залило степь от края до края зеленью всходов да сивыми ковылями.

Радостным цветом зацветали сады, обрастали сады зелеными шкурами.

Реки и озера кипели рыбой, сети не держали рыбы.

Ребятишки, на ходу сбрасывая штаны и рубахи, с криком: «Купа вода жара взяла!» – кидались с крутояра в разливы...

С давних пор с первым теплом из глубин России взмывали, как стаи голодных грачей, и тянулись на Дон да Кубань ватаги жнецов и косцов. В изодранных зипунах, в широких пестрядинных штанах, пыля разбитыми лаптями и сдвинув шапки с загорелых лбов, они шли и шли, мерли на дорогах, тысячами гибли в холерных бараках, но живые были упорны в своем стремлении и, дорвавшись до хлебных мест, пускали корень и оставались тут жить: нанимались в табунщики и пастухи, в Приазовье пополняли рыбацьи артели, из пришлой голытьбы создавались кадры батраков и ремесленников, торговцев и земледельцев.

Станичники выезжали на покос целыми семьями – с бабами, ребятишками, принятыми работниками. Кругом, насколько глазу хватало, расстилались зреющие нивы да травы в человеческий рост. Стальным клекотом стрекотали косилки, подпряженные парюю, а то и тройкой взмыленных лошадей. В траве блистали освистанные косы, взмокшие линючие рубахи обтягивали спины косарей. Вечерами горьковатый дым костров плыл над степью, под самые звезды взлетала молодая песнь.

К Петрову дню степь брунела. Стеной вставали хлеба – каленый колос, наливное зерно. Солнце обдавало степь потоками огня. Марево, мгла, жарко дышала онемевшая от зноя степь.

В долинах, в горячем затишье вызревал табак.

Арбузы и дыни были накатаны на бахчах, будто бритые головы на древнем поле битвы. Садовые деревья ломились под тяжестью плодов.

На привольных пастбищах нагуливались косяки коней и неоглядные отары тонкорунных овец.

Девки рано наливались, созревали для любви.

Степь родила хлеб.

Бабы рожали крепкомых детей.

Пчелы лили медовый дождь, виноград наливалось светлой слезой, и охотник в горах ломал зверя.

Богатый край, привольная сторонушка...

Станица уселась верхом на реку: по один бок жили казаки, по другой – мужики.

На казачьей стороне – и базар, и кино, и гимназия, и большая благолепная церковь, и сухой высокий берег, на котором по праздникам играл духовой оркестр, а вечерами собиралась гуляющая и горланящая молодость. Белые хаты и богатые дома под черепицей, тесом и железом стояли строгим порядком, прячась в зелени вишневых садочков и акаций. Большая вешняя вода приходила к казакам в гости, под самые окна.

Мужичья сторона полой водой затоплялась, отчего всю весну жители нижней улицы по уши тонули в грязи. Кое-как, будто нехотя, огороженные камышовыми плетнями подслеповатые саманные мазанки пятились на пригорок, уползали в степь. Летом, шумя как море, к самым дворам подступали хлеба. Садов мужики не разводили, считая это дело баловством. Перед хатами лишь кое-где торчали чахлые деревца с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и шерсть на овцах грубее, и бабьи наряды скромнее, и хлеб мужики ели простого размола, да и то – многие – не досыта.

Из хороших книг и грошовых книжонок давно известно, что казаки почитали себя коренными жителями, на пришлых с Руси иногородних людей посматривали косо, редко роднились с ними браками, чинили им всевозможные земельные утеснения и не допускали к управлению краем.

Так оно и было.

Вражда велась издавна.

В описываемой нами станице кладбищ и то было два: казачье – с чугунными решетками и высокими, кованными из витого железа крестами, под которыми тлели кости атаманов, старшин, героев; по неогороженному мужичьему кладбищу бродила скотина, и были на нем лишь две примечательные могилы – купца Митрясова, дикого обжоры, подавившегося на своей же свадьбе говяжьей костью, да неуловимого разбойника и чертозная Фомки Кривопуза.

На крутом берегу Кубани, глазами на реку, стоял крытый железом каменный дом старожилу казака Михайлы Черноярова.

Славились Чернояровы крепким родом, конями, доблестью и богатством.

Михайле перевалило за шестой десяток, но еще горячи были его глаза, и еще несокрушимой он обладал силой. Темной дубки крупное лицо его было похоже на лоскут заскорузлой кошмы. Русая с прочернью борода расстилалась по могучей, будто колокол, груди. Изпод обкуренных дожелта усов сверкали в усмешке белые как кипень и целые все до единого зубы. Высоко поднятую голову – с подрубленным в скобку волосом – крыла форменная с захватанным козырьком фуражка. В старом, дозелена выгоревшем чекмене, туго перетянутый наборным поясом, спозаранок он расхаживал по двору, присматривал за работниками, снохами, внуками, всем находя дело и всех разнося за нерасторопность. В неположенное время никто из домашних не смел при нем засмеяться или сесть без разрешения. В свободный час Михайла запирался в угловой полутемной комнатухе, куда доступ бабам был запрещен, и нараспев – в четь голоса – читал Библию, водя по строке перешибленным когда-то черкесской пулей и криво сросшимся пальцем. Порою тень глубокой думы набегала на его чело, и на пожелтевшую рябую страницу святой книги огненная падала слеза. Из глубокого кармана шаровар старик доставал окованную серебром трубку и заряжал ее целой горстью выдержанного по вкусу домашнего табаку. Курил, читал, вздыхал, вспоминая службу, походы и молодость свою, раздумывая о судьбах казачества и земли русской...

Вырос, да и всю лучшую пору жизни своей Михайла не слезал с коня. Он помнил Хивинский поход и последнюю, 1877–1878 годов, турецкую войну. Афганский, глухих тонов, ковер – память о Хивинском походе – и посейчас украшал стену его комнатухи. А в турецкий год с ним приключилась история, которая стоит того, чтобы о ней хотя и коротенько, но рассказать. Под Златарицами из самого пекла рукопашного боя Михайла выхватил

арабского скакуна – да такого! – какой и во сне не всякому приснится. На бивуаке станичники гурьбою пришли любоваться добычей. Самый старый в полку казак, Терентий Колонтарь, провел араба в поводу, осмотрел его зубы и носовые продухи, ощупал бабки, коленные чашки и подвздошные маслаки да сказал:

– Добрый конь.

И другие старики дули жеребцу в уши, вымеряли ребра и длину заднего окорока и тоже в голос сказали:

– Добрый, добрый коняга.

А когда Михайла, вскочив на араба, чертом пронесся перед станичниками раз да другой, – вскинулся Терентий Колонтарь, и гроза восторга пересверкнула в его очах.

– Эге-ге-ге! – воскликнул он. – Такого коня хоть и наказному атаману под верх, так впору.

И другие старики закивали сивыми чупрынами, приговаривая:

– Эге-ге-ге, братику, ще не було такого коняки в нашем кубанском вийске.

Похвала старых взвеселила сердце молодого казака, ибо чего-чего, а коней-то на своем веку те деды видывали. За статью, за удаль, за легкость кровей Михайла назвал жеребца Беркутом. Вскоре война окончилась, и русская армия с песнями двинулась к своим рубежам. В бессарабской деревнюшке, где казаки расположились на отдых, остановился на дневку и драгунский полк, что перекочевывал откуда-то из Галиции в Таврию. Командовал тем полком один из сиятельных князей, состоящий в родстве чуть ли не с самим государем. Однажды казаки и драгуны купали в Днестре лошадей. Тут-то князь и увидел Беркута.

– Эй, станица, – окликнул он казака, – где украл такого чудесного жеребца?

Михайла подлетел к князю, как был – верхом на Беркуте, голый, со щеткой на руке.

– Никак нет, выше высоко...

– Дурак. Титулуй *сиятельство*: я князь.

– Не воровал, ваше сиятельство, с бою добыл.

– Продай жеребца.

– Никак невозможно, ваше сиятельство, самому надобен. – И Михайла повернул было коня обратно в реку, чтоб прекратить этот пустой разговор. Князь остановил его:

– Сколько хочешь возьми, но продай.

– Не могу, ваше сиятельство, мне без жеребца – зарез.

Князь с ловкостью, поразившей кубанца, вскинул в глаз монокль и пошел вокруг горящего под солнцем атласистой мокрой шерстью жеребца. И опять тронул было Михайла, и араб заплясал, кося огненными очами на князя. И опять князь остановил казака и стал говорить о богатстве своем, о своих конюшнях, о курских, рязанских и саратовских землях, владельцем которых он являлся:

– Я тебя, казак, награжу щедро.

А Михайла, насупив брови, все бормотал «никак нет» да «невозможно». Вокруг них уже начали собираться казаки и драгуны.

– Хочешь, – тихо, чтоб никто не слышал, говорит князь, и Михайла видит, как у него дрожат побелевшие губы, – хочешь, скотина, я тебе за этого жеребца перед целым полком в ноги поклонюсь?

– Я не бог, ваше сиятельство, чтобы мне кланяться в ноги, – громко ответил ему Михайла и тронул. Князь, точно привязанный, пошел рядом с ним. Самый бывалый в полку казак, Терентий Колонтарь, уже смекнул, что дело не кончится добром, и, подойдя с другого боку, незаметно сунул Михайле в руку плетень. И снова спросил князь:

– Так не продашь?

И снова ответил ему Михайла:

– Никак нет.

– Тогда... тогда я у тебя его отберу! – И князь схватился за повод.

– И тому не стать! – уже с сердцем сказал Михайла, пытаюсь высвободить повод из затянутой в перчатку руки князя. Да и конь уже беспокойно затряс головой, однако князь был цепок и повода не выпускал. Ободренный улыбками станичников, Михайла зло крикнул: – У турок много было коней еще краше моего, там надо было добывать, а вы по тылам вареники кушали да галичанок щупали. Отчепись!

– Слезай, казак, – хрипло сказал князь и повис на поводу рванувшегося было Беркута.

Тогда потянул Михайла того сиятельного князя плетью через лоб. Взвился Беркут на дыбы, оторвались руки князя, он упал было, но мигом вскочил и вскричал:

– Под суд! Под суд! Драгуны, хватай его!

Но не уронил Михайла честь кубанского войска, голой плетью отбил от десятка кинувшихся на него драгун да прямо с яру махнул в Днестр, переплыл реку, держась за гриву коня, да так, в чем мать родила, и – гайда в степь! На пятые сутки он был уже на Кубани, в своем родном курене. В дальнейшем благодаря заступничеству наказного атамана и обильным взяткам, розданным военным чиновникам, дело было замято: из екатеринодарской войсковой канцелярии в санкт-петербургскую канцелярию полетела бумажка с вестью о том, что такой-то казак такого-то числа убит за Кубанью в схватке с черкесами. Тем все и кончилось. А Михайла с командой охотников мыкался на своем скакуне по Черноморью и Закубанью, замиряя непокорных горцев, – тут за самое короткое время он нахватал полную грудь крестов и медалей. Потом участвовал в подавлении ферганского восстания и в усмирении холерных бунтов, служил в конвое варшавского губернатора, служил в Петербурге, и когда, после японской кампании, вернулся домой, – его встретили бородатые сыны, подростки внуки. Михайла пустил Мурата – сына Беркута – в войсковой табун и заделался домоседным казаком.

За окнами, под обрывом, сверкая, бежала река. Бежали годы, играя, как гребнем волны, днями печали и радостей. Умерла старуха, дочери повыходили замуж, кто куда разлетелись и сыны.

Старший, Евсей, был подсечен в Монголии пулей хунхуза.

Подстарший, Петро, без вести пропал в Закавказье на усмирении.

Третий сын, Кузьма, промотав выделенную ему долю и покинув на руки отца двух внуков, ушел на Украину наниматься в стражники и тоже – как с камнем в воду.

У среднего, Игната, пехотный полковник сманил и увез невесту. Тихий и набожный от младости своей Игнат ушел с великого горя куда-то за Волгу, в раскольничьи скиты, и давным-давно не подавал о себе ни знака, ни голоса.

Сын Василий пристрастился к торговле и тоже отбил от казачьего роду. Долгое время он барышничал лошадьми, наваривая на грош пятак, и все возил да возил в банк просаленные потом и дегтем мужицкие рублевики. Перед войной скупил на Азовском побережье несколько мелких рыбных заводов, сгрозил в городе каменный трехэтажный дом, открыл торговлю и зажил на широкую ногу. Однажды он прикатил в станицу на собственном автомобиле. Михайла запер ворота на железные болты и спустил с цепи кобелей. Разбогатевший сын покрутился под окнами отчего дома и уехал в смертельной обиде.

Отломленный кусок и надмладший сын Дмитрий. Рос он вялым и хилым, отца боялся пуще огня, пускаясь в слезы и впадая в дрожь от одного его голоса. С детства любил церковное пение, прислуживал в алтаре. Станичную школу окончил с похвальным листом, стал проситься в город. Отец призыкнул на него и целый год продержал взаперти, приспособивая к работе по дому. Покорный сын за все брался безоблыжно, но дело как-то не спорилось в его неживых руках.

– Не выйдет из тебя ни доброго казака, ни крепкого хозяина, – сказал отец, выпроваживая его со двора. – Езжай, задохлец, учись.

Пролетело время немалое, семья стала уже забывать оторвыша, но вот из столицы вернулся, отслужив срок, вахмистр Сердягин, и от него станичники узнали, что Митька Черныров адвокатствует в Петербурге и обзавелся женой-барыней.

Младший сын, Иван, и нравом, и статью весь вышел в отца. Тот же крутой характер, природное удалство, любовь к движению. С юных лет он отбил от двора и вырос неграмотным. Дома жил только зимами. Каждую весну убегал в степь к чабанам или в приазовские плавни к рыбакам и лишь с первыми заморозками возвращался в станицу, обветренный и оборванный, с руками, истрескавшимися от цыпок, с рублями, звенящими в карманах холщовых штанов. В наше время ни на Кубани, ни на Тамани не осталось диких мест. Через горы и болота легли дороги, реки опоясаны мостами, распахан и затоптан каждый клочок земли, само море пятится перед человеком, и там, где еще на памяти стариков все тонуло в непролазных заломках камыша, ныне разрослись хутора, рыбацьи курени, станицы. В поисках забав Ванька забирался в такие чащобы, куда редко захаживал и заправский охотник. Путаные и неясные, как намек, тропы выводили его на подернутые дрязгом ржавые болота, на раздолье светлых лиманов. Над лиманами вились тучи чаек и бакланов, дремал камыш, шурша сухим листом. Ночевал Ванька на обсохших кочках, кормился чем придется. Годом к пятнадцати он умел вязать и насаживать сети, по звездам находил дорогу, по ветру предугадывал погоду, выслеживал кабанье гайно и, поколов поросят самодельной пикой, приносил их на рыбацкий стан. По весне, после спада воды, знал, в какое озеро и какая зашла рыба, куда сазан пошел метать икру, изучил повадки рыбы в водах проточных и стоячих, пресных и морских. С большой точностью по близким и далеким звериным крикам определял возраст зверя, понимал язык птицы, знал, когда и какая птица живет в степи, какая в лесу. Плавал так неслышно и проворно, что ухитрялся подобраться в камышах к выводку и побивал утят палкой. Будучи уже парнем, повадился хаживать за Кубань, где, соследив волчиные и лисьи ходы, расставлял капканы на черкесской земле, что считалось у казаков особенным удалством. Там сдружился и с Шалимом, с которым после судьба крепко и надолго связала его. Стрелял он отменно, попадая пулькой в лезвие кинжала на сто шагов. Отлично работал и пашкой, на лету рассекая серебряный полтинник. Полевой и домашней работы с малолетства не признавал, зато в плясках, драках и джигитовках всегда был первым. В будни и в праздники шлеялся по улицам, горланя песни и сводя с ума девок. Одна ночь темная знала, откуда казак добывал денег на гулевань. Болтали, будто удалец водится с отпетыми конокрадами, но пойман он не был ни разу.

Война раздергала семью Черныровых.

Мобилизовали внука Илью, мобилизовали внука Алексея. За ними, не дожидаясь срока призыва своего года, увязался и Ванька. Михайла наложил на сыновнее решение запрет – он еще надеялся, что парень остепенится и примет на себя хоть часть забот по хозяйству.

– Батяня, благослови, – повалился Ванька отцу в ноги.

– И думать не моги.

– Отпусти.

– Принеси-ка плетъ, – загремел взбешенный его упрямством старик, – отпущу тебе с полсотни горячих!

Этот последний памятный разговор происходил на базу. Сын усмехнулся и, храня видимую покорность, принес плетъ.

– Ложись, сукин сын, спускай штаны.

Ванька заупрямился. Первый же удар прожег ему чекмень, рубаху, да и шкуры прихватил. Слепленный болью, он сшиб отца с ног и пинками покатыл по базу. Старик выгнал его из дому и – самая большая обида – не дал строевого коня. Ванька наперекор отцовской

воле добыл коня за Кубанью, сманил из аула своего однолетка, дружка Шалима, и с казачьим эшелоном махнул на фронт.

Война качнула станицу, станица крикнула, расставаясь с молодежью. Не одно девичье сердце стонало голубем, надсадное рыданье жен и матерей мешалось с пьяными песнями и ревом гармошек.

А там пошли и бородачи призывных годов.

Кони понесли казаков в Персию, Галицию, под Эрзерум и с экспедиционным корпусом – через моря и океаны – в далекую Францию. Много чубатых голов раскатил ветер по одичавшим, залитым кровью полям.

Нежданно-негаданно налетела революция и закружила, завертела станицу.

Проглянуло солнышко и на дом Чернояровых.

Одним днем, ровно сговорившись, приехали сын Иван и сын Дмитрий с женой.

– Здорово, казаки, – встретил их отец на дворе.

– Здравия желаю, атаман, – устало улыбнулся Иван, сбрасывая с плеча вещевой мешок.

Старик расцеловался с сыновьями.

– Где Илюшку потерял? – спросил он Ивана. – Где Алешка? Наши писали, будто его... того, да я не верю.

– Верь, Алексей под Перемышлем убит, батарец Степка Подлужный самолично мне сказывал.

– Угу, пиши, – пропал казак.

– Илька в плену.

– Илюшка? В плен дался? Так, так... Два брата, два мосла... – Старик перекрестился, закусил бороду и, постояв короткую минутку в печали, обратился к сыну Дмитрию: – Ну, а ты на войне был?

– Нет, папаша, меня освободили как слабогрудого.

– Э-э, тухляй... И в кого ты, бог тебя знает, такой уродился?... Позоришь наш род, племя. Я в твои годы лошадь в гору обгонял.

Дмитрий растерянно пробормотал:

– Я хотел... Но так вышло... Я не виноват... Теперь приехал в родные палестины отдохнуть и переждать, пока вся эта канитель кончится... Вот моя жена Полина Сергеевна.

Михайло искоса глянул на остроносую молодую женщину, перебиравшую в руках серебряный ридикюль, и равнодушно сказал:

– Живите, куска не жалко. Около меня чужого народа сколько кормится, а ты как-никак нашего, чернояровского заводу.

Повел сыновей по двору.

Двор был чисто выметен. Крепкая стройка, пудовые замки, псы как львы. Пахло прелым навозом и нагретой за день сдобной землей. Под навесом, между двумя стояками, на деревянных крючьях была развешана жирно напоенная пахучим дегтем и остро сиявшая серебряным и медным набором сбруя. Всего противу прошлого поубавилось, но было еще достаточно и птицы, и скота, и хлеба. На погребе – кадки масла, тушки осетров своего засола, бочки вина своей давки, под крышей связки листового табаку и приготовленные на продажу туки шерстишленки.

Старик нацедил из уемистого бочонка ковш виноградного, отдающего запахом росного ладана вина и, отхлебнув, подал Ивану:

– Со свиданием, сыны.

– Как оно, батяня, живете и чем дышите?

– Слава царице небесной, есть чем горло сполоснуть, есть чего и за щеку положить. Один казакую, а все тянусь, наживаю. Суета сует и томление духа, как сказал пророк. Гол человек приходит на землю, гол и уходит. Вы, сукины коты, на мою могилу и плюнуть ни

разу не придете. Из меня – душа, из вас – добры дни. Все до последнего подковного гвоздя без меня спустите, без штанов пойдете с отцова двора. Попомните мое слово.

– Напрасно вы, папаша, так, – встрепенулся Дмитрий. – Я в Петербурге большие деньги зарабатывал. Имел свой выезд, свою дачу, дом собирался купить... Какое, однако, холодное вино – зубы ломит.

– Дача, выезд, миллионщик... А с поезда чемодан на горбу приволок.

– Что делать? Все отобрали. В пути остатки дограбили. Вы, тут сидя, и представить не можете, какой ералаш творится в столице, в городах и по дорогам. Сам не чаял живым выбраться.

– Тюрю. Да я бы...

– Хитро жизнь повернулась, – весело сказал Иван. – Кто был чин, тот стал ничем.

Старик нацедил еще ковш и выпил не отрываясь.

– Дисциплину распустили, оттого и бунт разыграл на Руси. Духу глупого развелось много. У нас, бывало, вахмистры представляли атаману ежемесячные реестры об образе мыслей каждого казака, и все было, слава богу, тихо... Дали бы мне казачий полк старого состава, живо бы усмирили мятеж на всей Кубани. Я бы им раздоказал.

Дмитрий замахал руками:

– Ай-яй-яй, да вы, папаша, – старорежимник... Так нельзя. Революция, если она не выливается из берегов благоразумия, крайне необходима для нашей темной Расеюшки. В Европе еще в прошлом веке происходило нечто подобное. Французы своему королю даже голову отрубили.

– Бунты у нехристей нас не касаются, – убежденно сказал старик. – Всяк по-своему с ума сходит: китайцы вон мышей, лягушек и всякую нечисть жрут, калмыки и падалью не брезгают. Да. Кубанское войско недаром когда-то песню певало: «Наша мать – Расея – всему миру голова». Все у нас должны жить под страхом. – Старик разгладил усы и заскорюзлым пальцем погрозил невидимому врагу. – Дали бы мне регулярный казачий полк, м-м-м, зубом бы натянул, а свел бы с Кубани крамолу, только бы из них пух полетел. Потом выставил бы казакам богатое угощение, те перепились бы на славу, тем бы все и кончилось. Ну, рассказывай, Ванька, об усердии по службе и об успехах по фронту.

За храбрость и сметку Ивана не раз представляли к награде, но кресты и медали не держались на его груди. Парень был огневой и дикий: то шутку какую выкинет, то начальству согрубит, – награду у него отбирали, из чина урядника и подхорунжего снова разжаловывали в рядовые. Однажды за неуплату карточного проигрыша Иван в кровь избил своего сотника. «За оскорбление офицера действием» он попал под военно-полевой суд. Ему грозили расстрел. Революция распахнула перед ним ворота тарнопольской тюрьмы.

– Как же это вы немцам поддались? – допрашивал отец. – Опозорили седую славу дедов.

– Мы – немцам, вы – японцам, что о пустом говорить? Немцы нам глаза протерли, на разум дураков наставили. Царский корень, батяня, сгнил. Пришло время перепаживать Россию наново, пришло время ломать старую жизнь.

– Палку на вас хорошую.

– На драку много ума не надо.

– Чем же тебе, сынок, старые порядки не по нраву пришлись? Или ты наг, бос ходил, или тебя кто куском обделял? Засучивай рукава, приступай к хозяйству. Умру, ничего с собой не возьму, все вам оставляю. Дом – полная чаша. Вам только придумать, заживете как мыши в коробе.

– Богатства нам не наживать, мы враги богатства, – глухо сказал Иван. – Нас фронт изломал. Три года не три дня. Малодушные устали, да и крепким надоело. И во сне снится – вот летит аэроплан или снаряд, вскакиваешь и кричишь.

– На фронт тебя ни государь, ни я не посылали, сам пошел.

– Генералы-буржуазы, большевики-меньшевики – всех их на один крючок! Через ихние погоны и золото слезы льются. Новую войну надо ждать, батяня.

– Чего мелешь? Какая война и с кем?

– Направо-налево война. Тут тебе генералы, тут ученые, тут мужики... Нагляделся я на рязанские деревни; плохо живут – теснота, духота. Он хоть и мужик, – кругом брюхо, – а есть, пить все равно хочет. И иногородний не нынче завтра скажет: «Твое – мое, дай сюда».

– Дело не наше, сынок. Земля казачья, и права казачьи, а мужиков будем гнать отсюда в три шеи. Пускай идут с помещиками воюют, там угодий много. У них в России лес, мы за ним не тянемся. В Сибири золото, и золота нам не надо. Чиновники и мастеровщина жалованье получают, нам до того тоже дела нет. Мы тут с искони веков на корню сидим. Отцы и деды наши кровью и воинским подвигом завоевали эти земли, и мы никому их не отдадим.

– А с горцами как распорядишься, батяня?

– Азиатцев загнать к черту, еще дальше в горы и трущобы. Не давать им, супостатам, из Кубани и воды напиться.

– Тому, батяня, вовек не бывать. Все люди, все человеки...

– Думай всяк про себя, всех не нажалеешься. Да что с тобой много растабаривать? Мы, коренные казаки, не спим, и дело уже делается, – многозначительно сказал старик.

– Какое дело?

– Тебе о том рано знать... Выпей с дорожки, сынок, разгони тоску. – И он подал нали-
тый всрезь ковш вина.

Иван надпил и передал ковш брату, а отцу сказал:

– Нам надо жить так, как живет весь простой народ.

– Ванька, не забывай бога и совесть! – зыкнул Михайла. – Когда говоришь с батьком – держи руки по швам и не моги рассуждать, что тебе мило, что не мило!..

– Брательник, ты... – вступил в разговор расхрабrevший от вина Дмитрий, – ты... еще молод, зелен и о многом в жизни не смыслишь... Папаша прав: Кубань – кубанцам, Дон – донцам, Терек – терцам. Ты, Ваня, не понимаешь всего величия и размаха казачьей души... Старые сказания, песни, славная история наших предков-запорожцев... Как это поется: «Садись, братцы, в легки лодочки... На носу ставь, братцы, по пушечке». Ваня, не подумай, что я барин... Я, брат, в глубине души – сечевик. Смешно вспомнить: однажды я надел черкеску, папаху и так прошел по всему Невскому проспекту...

– Гайда, сыны, в хату, – пригласил отец, – ужинать пора.

И потекли размеренные дни.

Михайла не доверял чужому глазу и порядок в доме вел сам. Подымался он ни свет ни заря и шел по двору в первый обход: заглядывал на баз, сажал на цепь кобелей Султана и Обругая, будил работников, отдавал распоряжения по хозяйству.

Бабы, будто за делом, забежали к Чернояровым, во все глаза рассматривали петербургскую барыню и поголовно оставались недовольны ею: и тоща-то она, ровно ее кто и спереди и сзади лопатой хватил, и шляпка смешная, и ноги тонки, ровно у козы.

Дмитрия осаждали мужики:

– Скажите вы мне, Дмитрий Михайлович, вы человек ученый, все законы наперекрест знаете, как оно будет? Подняли мы с зятем Денисом под озимь тридцать десятин...

– Знаю, знаю... Ты уже вчера рассказывал... Необходимо, дядя, сперва устроить всю Россию, потом можно говорить о твоих тридцати десятинах. Учредительное собрание, кото-
рое...

– Да как же оно так? На што она мне сдалась, Расея? Дочке чёботы новые я купил? Купил. Воз хлеба под Крещение к ним в амбар ссыпал? Ссыпал. А теперь тот зять Денис мне и говорит: «Я тебе, такой-сякой, глаза повыбиваю». Это справедливо?

– Ты пойми, дядя Федор, я говорю тебе как адвокат. Земельные споры не могут быть решены ни нами с тобой, ни нашим станичным обществом. Учредительное собрание или наша Кубанская рада прикажут делить землю всем поровну – делать нечего, мы, казаки, подчинимся...

– А ежели не прикажут?

– Тогда видно будет.

– Да чего ж тогда видеть? Все делается с мошенской целью...

– С тобой, я вижу, не сговоришься. У меня даже голова разболелась. Приходи завтра, напишу жалобу атаману на зятя Дениса.

Дмитрий с женой уходили в степь.

Через всю станицу их провожали мальчишки. Как бесноватые, они свистали и вопили:

– Барин, барин, дай копейку...

– Барыня, барыня, строганы голяшки...

Мертва лежала степь, исхлестанная дорогами, в лощинах и на межах еще держались снега, но солнце уже набирало силу, пригорки затягивало первым, остро пахнущим полыньком. Дмитрий тростью обивал почерневшие прошлогодние дудки подсолнухов и шумно радовался:

– Простор! Красота! Степь, степь... Она помнит звон половецких мечей и походы казачьих рыцарей. Вон Пьяный курган: лет пятьдесят назад казаки сторожевого поста в Троицын день перепились и были поголовно вырезаны черкесами... Сколько забытых легенд и славных былей... Да, не раз казачество спасало Русь от кочевника и ляха, ныне спасает ее от хама и большевика. Дух предков жив в нас, и, если будет нужно, мы все от мала до стара возьмемся за оружие...

– Ну, нет, – целовала его Полина Сергеевна в щеку, – под пули я тебя не отпущу. Ты должен беречь себя.

Иван нигде не находил себе места. Ничто не веселило его, и в своем дому он чувствовал себя как чужой. По вечерам встречался в садах с писаревой дочкой Маринкой и жаловался:

– Скушно мне, Маринушка.

– Тю, дурной. С чего ж тебе скушно?

– А не знаю.

– Пойди до лекаря, он тебе порошков даст от скуки. – Она смеялась, ровно цветы сыпала. Прыгала круглая – кольцом – бровь, во всю щеку играл смуглый румянец, икрная была девка. – Эх ты, мерзлая картошка! Ни веселого взгляда от тебя, ни шутики. Поплясал бы пошел с молодежью, побесился.

Было время, когда Иван бежал к ней на свиданку и от радости уши у себя видел, но теперь все было не мило ему.

– Воевать я привык, а у вас тут такая тишина...

– Ах, Ваня, какой ты беспокойник. С одной войны возвратился, о другой думаешь. Ни письма мне с фронта не прислал. Коли не любя, скажи прямо, я сама не погонюсь.

– Любя, – тянулся к ней Иван и со злостью щипал ее крепкую грудь.

Она взвизгивала, била его по рукам платком с семечками и шипела:

– Не лапай, не купишь. Я дочь хорошего отца-матери и до поры ограбить себя не дам. Коли любишь, выбрось затеи из головы, засылай сватов. – В темноте поблескивали ее соколиные очи, и, точно в ознобе поводя крутым плечом, она еле слышно договаривала: – Все твое будет.

– Ведьма!

Маринка выскальзывала из его объятий и, смеясь, убегала.

Иван брел ко двору.

Дома его встречал отец:

– Где шатался, непутевая головушка?

– Собак гонял.

– Не наводи на грех. Пьешь?

– Али у меня рта нет? Пью. Али мне у тебя еще увольнительную записку просить? На службе надоело...

Старик оглаживал бороду и вздыхал:

– Женить тебя, Ванька, надо.

– Не хочу, батяня. От бабы порча нашему молодечеству. Казачество есть мой дом и моя семья.

– Золотое твое слово, сынок... А чего ты, я заметил, беса тешишь – лба не крестишь? В церковь ни разу не сходил?

Иван молчал.

– У-у, супостат... И как тебя земля носит? В Библии, в Книге Царств, о таком олухе, как ты, сказано...

– Что мне Библия? Нельзя по одной книге тысячу лет жить, полевой устав и то меняется.

– Язык тебе вырвать с корнем за такие слова... Погоди, Ванька, господь-батюшка тебя когда-нибудь клонет за непочитание родителя.

– Ну, батяня, будет он в наши с тобой дела путаться?... Как первый раз сходил я в атаку, так и отпал от веры. Первая атака... И сейчас кровь в глазах стоит! Ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай больше не верю. Ничего и никого не боюсь. Душа во мне окаменела.

– Как же вы, молодые, хотите, чтобы вам верили, когда сами ни во что не верите? И мы в походах бывали, да страху божьего не теряли... Всему верить нехорошо, а не верить ничему еще хуже: вера, сынок, неоценимое сокровище.

На гулянках холостежи Иван целыми вечерами молча сидел где-нибудь в темном углу и посасывал трубку. Все, над чем смеялись парубки и девчата, казалось ему несмешным, а бесконечные разговоры мужиков о хозяйстве, о земле нагоняли на него смертную скуку.

Однажды Шалим привез на базар убитого в кубанских плавнях дикого кабана. Отбазарив, он завернул к Чернояровым и через работника, калмыка Чульчу, вызвал Ивана.

Они отправились в шинок.

– Рассказывай, кунак, как живешь?

– Хах, Ванушка, сапсем палхой дела. Коровка сдох, матера сдох. Сакля старий, дождь мимо криши тикот. Отец старий, ни один зуб нет. Лошадь старий, тюх-тюх. Барашка нет, хлеп нет, сир нет, ничего нет. Отец глупий ругаит: «Шалим, ишак, тащи дрова. Шалим, ишак, тащи вода».

Ивана корежило от смеха.

Шалим долго сетовал на свою судьбу и все уговаривал дружка бежать в горы. Худое, чугунной черноты лицо его дышало молодой отвагой, движения были остры, взгляд быстр и тверд. В длиннополой фронтальной шинели и в тяжелых солдатских сапогах он путался, как горячий конь в коротких оглоблях. Перегнувшись через стол и сверкая белыми, как намытыми, зубами, лил горячий шепот, мешая русскую речь с родными словами:

– В ауле Габукай живет мой кровник Сайда Мусаев, – будем кишки резить! Янасына воллаги... На речка Шебша живет кабардинский князь богатый-богатый – будем жилы дергать! Биллаги, такой твой мат! Хах, Ванушка, наша будет разбойника, нас не будет поймал, нас будет все боялся!

Иван тянул рисовую водку, усмешка плескалась в его затуманенных глазах... Слушал и не слушал Шалима, был доверху налит своими думками, а думки эти в зареве пожаров, в трескотне выстрелов мчали его на Дон, Украину, от села к селу и от хутора к хутору... Как сквозь сон дорогой виделись ему степные просторы, взблески выстрелов, сверканье кинжалов, слышались яростные крики, и рожки горнистов, и грохот скачущих телег, и топот коней, и тугой свист шашки над головой... Он схватил руку Шалима:

– Ахирят!

– Ходым?

– Ах, друг, мне тут тоже не житье. Такая скука – скулы ломит. Надо уходить.

Они поменялись кинжалами. В шинке просидели допоздна и на улицу вышли в обнимку, с песней.

Новые песни принесли с собой фронтовики. Измученные и обовшивевшие, они ползались по станицам и хуторам, и чуть ли не каждый из них, как пушка, был заряжен непримиримой злобой к старому-бывалому.

Вернулся домой – без руки – Игнат Горленко. Вернулся убежавший из австрийского плена казак Васянин. Вернулся рыжий Бобырь. Вернулся – на костылях – Савка Курок. Вернулись братья Звенигородцевы. Приехал из Финляндии гвардеец Серега Остроухов. Приполз с отбитым задом старый пластун Прохор Сухобрус. Вернулся с прядями седых волос в чубе тот самый Григорий Шмарога, о котором жена уже другой год служила панихиды. Вернулся до пупа увешанный знаками отличия ветеран Лазурко. Вернулся дослужившийся до чина штабс-капитана агроном Куксевич. Вернулся с Турецкого фронта Яков Блинов. И другие казаки и солдаты возвращались.

Вернулся домой и Максим Кужель.

Марфа – босая, с подоткнутым подолом, полы мыла – выбежала во двор и бросилась ему на шею. Сама плачет, сама смеется.

Максим целовал ее и не мог нацеловаться.

– Рада?

– Так-то ли, Максимушка, рада, ровно небо растворилось надо мной и на меня оттуда будто упало чего.

Вытопила баню, обрала с него грязь и, расчесывая сваленные волосы, все ахала:

– Батюшки, вши-то у тебя в голове, как волки... А худющий-то какой стал, мослы торчат, хоть хомуты на тебя вешай.

– Злое зло меня иссосало.

В хате стоял крепкий дух горячего хлеба. Выскобленный и затертый, точно восковой, стол был заставлен домашней снедью, сиял начищенный до жару самовар.

– Садись, Максимушка, поди, настоялся на службе-то царской.

Дверь скрипела на петлях – заходили сродники и так просто знакомые, расспрашивали про службу, про революцию. Иные, поздоровавшись, извлекали из карманов кожухов бутылки с мутной самогонкой и ставили на стол. Забегали и солдатки:

– С радостью тебя, Марфинька.

И не одна украдкой смахивала слезу.

– Моего-то там не видал? – спрашивали служивого.

– Затевай пироги, скоро вернется. Война, будь она проклята, поломалась. Фронт рухнул.

В чистой, с расстегнутым воротом, рубаше, досиза выбритый, Максим сидел в переднем углу и пил чай. Про войну он говорил с неохотой, про революцию с азартом. Тыча короткими пальцами в вытертый по складкам номер большевистской газеты, разъяснял – кто за что, с кем и как.

Марфа с него глаз не спускала.

– В станице власть ревкома или власть казачьего правления? – спросил Максим.

– А не знаю, – улыбнулась Марфа, – говорили чего-то на собрании, да я, пока до дому шла, все забыла.

– Эх ты, голова с гущей, – засмеялся Максим и близко заглянул в ее сияющие глаза.

– У нас по-старому атаман атаманит, – сказал кум Микола. – В правлении у них до сей поры портрет государя висит.

– Чего же народ глядит?

– Боятся. Известно, народ мученый, запуганный. Кто и рад свободе, да помалкивает, кто обратно ждет императора, а многие томятся ожиданием чего-то такого...

– Воскресу им не будет...

– Бог не без милости, – согласился кум Микола и оглянулся на станичников. – Я так смекаю, мужики, ежели оно разобратся пристально, власть – она нам ни к чему. Бог с ней, с властью, нам бы землицы. Скоро пахать время, а земли нет. Похоже, опять придется шапку ломать перед казаками?

– Не робей, кум, не придется, – строго сказал Максим. – Али они сыны земли, а мы пасынки? Работаем на ней, а она не наша? Ходим по ней, а она не наша?

– Ты, Максим Ларионыч, с такими словами полегче, а то они, звери, и сожрать тебя могут.

– У них еще в носу не свистело, чтоб меня сожрать. Это раньше мы были, как Иисус Христос, не наспиртованы, а теперь, испытав на позиции то, чего и грешники в аду не испытывают, ничего не боимся. И в огонь пойдем, и в воду пойдем, а от своего не отступимся.

Наконец гости провалились.

Марфа кинула крепкие руки на плечи мужу и с пристоном выдохнула:

– Заждалась я тебя...

– Ё-ы, у меня у самого сердце как золой переело. – Он лепил в ее сухие, истрескавшиеся губы поцелуй за поцелуем.

Она задула лампу и, ровно пьяная, натыкаясь на стулья, пошла разбирать постель.

...Максим пересыпал в руке ее разметанные густые волосы и выспрашивал о житебыть.

– Жила, слезами сыта была... В степь сама, по воду сама, за камышом сама, тут домашность, тут корова ревет – ногу на борону сбрушила, дитё помирает. Кругом одна. Подавилась горем. От заботы молоко в грудях прогорькло, может, оттого и кончился Петенька.

– Не тужи, наживем другого.

– Легко сказать: другого. – Она заплакала. – Такой поползень был шустрый да смысленый. Везде он лез, все хватал, цапал...

На Максима забыть нашла, а над ухом все гудел и гудел ровный женин голос:

– Такие страхи пошли после извержения царя... Голову от дум разломило. Сперва все судачили – вот Керенский продал немцам за сорок пудов золота всю Кубань вместе с жителями; потом слышим – вот придут турки и начнут всех в свою веру переворачивать. На Крещение вернулся из города лавочник Мироха и на собрании объясняет всему обществу: «Вот наступает из Ростова на нашу станицу красное войско, прозвищем большевики. Все хвостатые, все рогатые, все с копытами. Пиками колют старых и малых, а из баб мыло делают». Такой поднялся вой, такое смятение... С плачем, с криком кинулись мы, бабы, в церковь, подхватили иконы, подняли хоругвь. Батюшка с крестом три раза обошел вокруг станицы, все дороги и тропы святой водой окропил, и, слава царице небесной, пронесло большевиков стороной.

Сытый Максим пробурчал сквозь сон:

– Дуреха ты нечесаная.

– Чего я знаю? Темная я, как бутылка. Куда люди, туда и я.

– Такие брехи на страх простому народу разводят фабриканты, банкиры, генералы и все приспешники престола Николая, которые затаили в себе дух старого режима.

– Хай они все передохнут. Лошадь у нас есть, корова меж молоко ходит, как-нибудь перебьемся, а там, глядишь, землицы нарежут, посеем посеvu и заживем сполагоря...

В переднем углу теплилась лампадка зеленого хрусталя. Смутные тени лежали на темных лицах угодников. В покосившиеся окна заглядывало седое зимнее утро. За стеной промычала корова: Максиму показалось, что заиграл горнист, он вскочил, огляделся и снова подвалился под жаркий бок Марфы... Счастливый, уснул.

Станица раскачивалась, через станицу волной катились вести:

Большевики берут верх по всей России.
На Дону война. На Украине война.
В Новороссийске – советская власть.
По Ставрополю народом поставлена советская власть.
Казаки за народ. Казаки против народа.

Под станицей Энем офицеры перебили отряд новороссийских красногвардейцев.

В Екатеринодаре войсковое правительство разгромило исполком и арестовало большевистских вожаков.

Ростов взят красными.

В станице Крымской на съезде представителей революционных станиц выбран кубанский областной ревком.

Весна выдалась недружная. Блеснет ясный денек, другой, и снова запорошит, завьюжит. Чуть ли не до благовещеньего дня прихватывали заморозки, перепадал снежок, но уже близилась пора пашни и весеннего сева: по-особенному, свежо и зазвонисто горланили петухи; под плетнями на пригреве босые ребятишки уже играли в бабки; в садах и на огородах копались бабы; хозяин сортовал, протравливал посевное зерно, вез в починку плуг и сеялку.

Два раза в неделю приглушенно шумел базар, в кузнице день и ночь кипмя кипела работа, над станицей плыл и таял в сырых просторах степи медлительный великопостный звон.

У кузниц, и на базаре, и на мельнице, и в церковной ограде – всюду, где сходились люди, – неизбежно заваривались крутые споры, вскипали сердитые голоса, вражда рвалась направо и налево.

Фронтовики из вечера в вечер собирались в доме учителя Григорова, судили, рядили – какую власть ставить? Приходили послушать дерзких речей и старики, но сами в разговор ввязывались редко, молча посасывали трубки, по перенятой от горцев привычке строгаи ножами палочки да, посматривая друг на друга, качали головами. Завернули было как-то на огонек солдатики. Школьный сторож Абросимыч, престарелый герой турецких походов, обляял их последними словами и вытолкал в шею – не вашего, мол, тут ума дело.

– Я так думаю, надо самый зуб выдернуть – арестовать атамана! – говорил Максим, смело оглядывая собравшихся.

– Не с той ноги, Максим, пляшешь. Арестуем атамана – казаки завтра же всех нас порубят, постреляют. Они такие...

– Дурак, – осаживал говорившего кто-нибудь из молодых казаков. – Мне атаман тоже дорог, как собаке пятая нога. Сшибить его не хитро, а кого поставим хозяином станицы?

– Вот Емельку, – смеялся подъесаул Сотниченко, выталкивая вперед батрака Емельяна Пересвета. – За такой головой жить – не тужить.

Смущенный Пересвет, как бугай, мотал косматой башкой, что-то мычал и пятился в угол, а кругом гремели голоса:

– Брысь под лавку.

– Он и свинье замесить не умеет.

– Мы того не допустим, чтоб, как в других прочих местах, всякий прошатай над нами стоял... Послушаешь – уши вянут: там фельдфебелишка, там рыбак, там матрос станицей крутит.

– И Христос плотником был, – вставил благообразный мужик Потапов, вожак секты евангелистов.

– Быть того не могёт, – отмахнулся Сотниченко. – Какой там плотник? Может статься, был он подрядчиком или кем... Но чтоб плотником – руби голову, не поверю.

Хохот пошел такой, будто поленница дров развалилась.

Сбитый с позиции Сотниченко не унимался:

– Я – природный казак. Два Георгия и медаль заслужил. Мне ли его, Емелькин, приказ исполнять? Того вовек не будет.

Взяло Максима за сердце, опрокинулся на подъесаула:

– Во, во, братику, генеральская палка еще не дюже вам прискучила... Поставь перед тобой чучелу в рассыпных эполетах – и перед той будешь тянуться да честь отдавать. Генералы да атаманы большое жалованье получали, много они сосали народной крови. Нам нужны управители подешевле. Всем миром-собором будем за делами смотреть. Выборный комиссар, будь хоть черт, он весь на виду. Чуть начнет неправильные приказы давать – по шапке его, выбирай другого...

– Господина Григорова просить будем, говорок.

– Он и говорок, да смирный, а дело... – Максим, как бы извиняясь, коротко улыбался учителю и испытующе глядел ему в глаза, – дело к войне, нам смирных не надо.

Григоров порывисто вскакивал и говорил-говорил о светлом будущем России и революции, о народоправстве и грядущем примирении всех наций и сословий. По природе человек мечтательный и тихий, в дни далекой юности он увлекался революционными идеями, но когда началась расправа над лучшими, слабые увяли. Увял и убрался из города и Григоров. Десять лет с лишним, как он уже учительствовал в станице, вдальбивая в головы подростков нехитрые правила правописания и незыблемые истины начальной математики... Говорил он обычно горячо и помногу и при этом, по болезненной привычке, вертел в руках какой-нибудь предмет или быстрым движением навивал на палец и вновь распускал длинный черный шнурок пенсне. Иные, слушая его, скучали, а иных как раз и прельщали непонятные и кудреватые слова, которыми учитель обильно уснащал свою речь, сам того не замечая.

Когда наконец, усталый и счастливый, он плюхался на стул, ему, по завезенной из города моде, рукоплескали, а до ушей долетал, обжигая, одобрителный шепот:

– Башка...

– Это действительно... Говорит – как по книжке читает.

– Господи, твоя воля, что-то с нами будет? – Мясник Данило Семибратов донельзя засаленным батистовым платком отирал вспотевшее лицо, поросшую золотистой шерстью грудь, подмышки и, редко расставляя слова, хрипел: – По мне, коли что, выбрать хорошего человека, и пускай ходит пополам: один день атаманом, другой день комиссаром.

Максим на него:

– Нет, Данило Семенович, нечего нам с атаманами якшаться! Раздирать их на все концы, и никакая гайка.

– Дивитесь, люди добрые, Кужель сам в комиссары метит, да – не балуй! – хвост короток.

– Куда мне, я малограмотный... Вперед не суюсь, но и сзади не останусь: интересует меня, что у нас получится... Ночей не сплю, думаю.

Евангелист Потапов нахлобучивал на глаза заячий малахай и, пробираясь к выходу, ни на кого не глядя, как бы про себя бормотал:

– Всенародная молитва, покаяние и прощение грехов друг другу... А тут – адов смрад, хула, вертеп разбойников... Кровь будет, горе будет, пожрем и похитим друг друга, а червь пожрет всех нас... Зарастут пороги наших жилищ сорной травой, едины хищны звери будут рыскать по лицу земли...

Кто бы мог подумать, что не пройдет и месяца, как новоизраильцы, староизраильцы, субботники, штундисты, прыгуны и другие сожительствовавшие в станице секты выставят в партизанские отряды роты и сотни своих братьев?

Максим долбил свое:

– Нам хоть туда, хоть сюда, но как бы скорее землю...

– Да, время не ждет, пора бы и делить.

– А чего ее делить? – удивился рыжий Бобырь. – Она делена. Ударит теплышко-ведрышко, запрягу, свистну и поеду.

– Грех между нами будет.

– Старость придет, замолим.

– Умно сказал: «Свистну да поеду». У вас, Алексей Миронович, казачьего наделу пятнадцать десятин на душу, а душ немало – три сына, племян, дед, зять да сам большой... Дурной головой сразу и не сообразишь, какую вы под пашню карту поднимете.

– А ты чужое не считай, мозги свихнешь... – сказал Бобырь. – Гони аренду по триста цел кашей за десятину и вваривай, паши, насколько сила взгребет.

– Где возьму такие капиталы? Целкаши не кую и не ворую.

– Мне до того заботы мало, со своим добром не навязываюсь. Кому надо, придут, да еще и в ножки поклонятся.

– Ой, Алексей Миронович, не просчитайся.

– И чего ты, Игнат, к нему присваиваешься? – вступил в разговор инвалид Савка Курок. – Люди выедут, и мы выедем. Люди начнут сеять, и мы начнем сеять. Которое поле приглянулось, то и твое.

– Сейте, сейте, а убирать да молотить вас не заставим, как-нибудь и сами справимся.

– Разувайся... Мы, фронтовики, не выпустим оружия из рук, пока свой порядок не установим. Свобода, равенство и никакого с вами, кабанами, братства. Вся сила в нас: что захотим, то и сделаем.

– Погавкай, собака хромая.

– Это я – собака?

– Нет, не ты, а твоя милость.

Савка поднимал костыли и лез в драку. Его оттаскивали и отговаривали. Он рвался и не своим голосом орал:

– Я ему голову отвинчу...

– Отцепись, калека. Послушай лучше, что вон люди про войну говорят...

– Провались она в преисподнюю, эта самая война... Тебе, Игнат, еще гладко: сын в городе хорошие деньги зарабатывает, он тебя докормит до смерти. А мое положение – жена больна,

нездоровье не позволяет ей работать, полна хата малышей, жрать нечего, и сам я не имею над чем трудиться.

– Да, почудили на свой пай, – сказал гвардеец Серега Остроухов. – Не знаю – как кого, а меня ныне на войну и арканом не затянешь. Погеройствовали, хватит. Самое теперь время ночью над своей бабой героизм оказывать.

– Ты, односум, до баб лют. Кабы за такое геройство награды выдавали, зараз бы полный бант заслужил.

– Ох, леденеет кровь в усталых жилах, как только подумаешь о войне, а воевать не миновать.

– Горюшко-головушка.

– До стены дошли, – говорит Максим, – стену ломать надо. С кого начинать, с чего начинать, у всех ли есть оружие?

Мысль рождалась туго.

Спорили целыми ночами, бесконечно плутали в кривотолках, и все же передовые хотя и медленно, но выбивались на верную тропу.

В праздничный красный день после обедни конные мыкались по станице и шумели под окнами:

– На майдан! Ходи, старики! Ходи, молодые!

Из окна высовывалась голова хозяина:

– Что такое?

– Приехал...

— Кого там принесло?

– Его высокоблагородие полковник Бантыш, член Кубанской рады, изволили прибыть.
На майдан сыпь наметом.

Хозяин, не допив чая и отодвинув недоеденный кусок пирога, выскакивал из-за стола и командовал:

– Баба, подавай полковую форму.

И скоро, приодевшись по-праздничному и нацепив все боевые отличия, казаки уже поспешали к станичному правлению. Улицей и переулками торопливо шагали старики и солдаты-фронтовики. Сломя голову мчались ребяташки. Бежали не пропускавшие ни одного собрания солдатки. Ковылял, волоча перебитую ногу, инвалид Савка Курок и во всю рожу орал:

– Какое там собрание? Все равно будет по-нашему. Вся сила в солдате! Казаки против народа не вытерпят.

Площадь от краю до краю затоплена станичниками. Там и сям заядлые спорщики уже вступали в единоборство. И даже робким, что всегда на народе молчали, и тем не молчалось.

Заика-пекарь Гололобов, подергивая контуженым плечом, шнырял по толпе и скороговоркой сыпал:

– Шапку к-к-казацьцю носить не м-м-моги. С возом едешь, с-с-сворачивай. Аренду, з-за план гони, за па-пашню гони, за попас к-к-kozy гони. Пожарную к-к-команду содержи, дороги, мосты б-б-б-б-блюди. В церкви стой у п-п-п-порога. Суд к-к-казачий, правление к-к-казацьче, училище к-к-казацьче. Тьфу, провались в т-т-т-т-т...

– Тартарары, – подсказал учитель Григоров, и все рассмеялись.

[illegible]

– Всякая кокарда с двуглавым орлом будет над тобой измываться... Взял бы грязное метло...

- О-б-б-обидно.
- Не дают нам вверх глядеть.
- Страдаешь за то, что живешь.

В кругу тесно сгрудившихся слушателей Максим громко читал истрепанный номер большевистской газеты, с которым не расставался уже с месяц. Почти все статьи он знал наизусть. Бегло читал по листу и, где было нужно, добавлял перцу от себя, так что получалось здорово.

Сдержанные голоса и шепот:

- Вот тож большевики, сукины дети, каждым словом по буржуям и генералам бьют.
- Раз-раз – и в дамки.
- Шпиёны...
- То, дядька, брехня.

– Знаменитая газетка, она раздерет глаза темному народу... Слушаю, и злоба во мне по всем жилам течет... Эх ты, власть богачей золотого мира, и до чего ж ты нашу государству довела?

– Тише, Егор, не мешай слушать.

На плечо Максима упала тяжелая рука старого казака Леонтия Шакунова:

– Стой, солдат.

Максим обернулся и стряхнул с плеча руку:

- Стою, хоть дой.
- Как ты, суконное рыло, смеешь народ возмущать?
- А какая твоя, старик, забота? Ты что, начальник надо мной или старый полицейский?
- Га-га-га, – загремели многие глотки.
- Не пяль хайло и грубить мне не моги. Я есть полный кавалер, в трех походах бывал.
- Проснись, кавалер, открой свои глаза: свобода слова. Кругом имею право говорить, кругом – требовать.

Шакунов вытянул кадыкастую шею, взглядом выискивая в толпе казаков:

– Чего вы, едрёна-зелёна, уши развесили, всякую хреновину слушаете да еще зубы скалите? Газетину эту надо арестовать, а солдата выпороть и выгнать из станицы к чертовому батьке...

– Не круто ли, дед, солишь?

Шакунов откашлялся и, грозя седою бровью, заговорил:

– Послушайте, господа станишники, меня, старого. Мне жить осталось недолго, врать грех, врать не буду. Кто такие большевики и красногвардейцы? То не бывалошная гвардия, в которую шли служить лучшие, отборные люди, как наши лейб-казаки. То – голодранцы, жулье, босая команда, золотая рота, отродье вечного похмелья. Ни дома, ни хозяйства у них нет и никогда не было. Дела никакого не знают. Говорят с ругней, едят и пьют с ругней. С Дону казаки их пугнули, и наша рада своих из Екатеринодара пугнула. Вот они и бродят по Кубани шайками, как волки, вынюхивают, где бараниной пахнет. Чего добудут, то и пропьют, проиграют али на папироски растратят. Хай-май, ничего им не жалко. Нынче тут, завтра бес знат где. У нас и хаты, и кони, и коровы, и кабаны, и плуги, а может, у кого и косилки с жнейкой. Так что ж, господа станишники, пустим большевиков на дворы, в хаты да и скажем: «Берите наше нажитое, спите с нашими женками?..»

– Слушаю я тебя, Леонтий Федорович, и диву даюсь, – перебил его седуусый вахмистр Луговой. – «Кони да коровы, кабаны да тягалки, кисель и сметана...» Как у тебя бесстыжие глаза не полопаются? Как ты ухитряешься всех на свой салтык мерить? Я – казак, ты – казак. У тебя один сын в Армавире писарем служит, другой при генерале холуем, а мои соколы с первого шагу войны за Расею бьются и груди свои молодецкие крестами да медалями изувешали. – Грязной тряпицей он отер слезящиеся глаза и всхлипнул. – У тебя посеvu четыре-

ста десятин, трех годовых работников содержишь, а мне шестьдесят пять годиков стукнуло, просятся старые кости на покой, ан нет: сам над своим наделом горб гну... Из-под ногтей у меня пшеница растет. – Он поднял задубевшие от работы руки и показал их всем, потом чиркнул спичку о корявую ладонь: спичка вспыхнула. – Это ты можешь понять?

– Тут и понимать нечего... Ты, Луговой, хоть и вахмистр, а на все стороны дурак. Не одному ли мы государю служили и не одинаковыми ли мы пользовались правами? Кто тебе наживать не велел? Пьянствовать надо было полегче да слушать тех, кто старше тебя чином.

– Служба царская до богатства меня не допускала. Сам двенадцать годов на сверхсрочной оттрубил, а сыны тут до самой свадьбы из ярма не вылазили, на таких, как ты, батрачили. Сам отслужился, деток стал на действительную собирать. Выставил трех строевых коней, справил три полных комплекта амуниции – и закашлял, и до сего дня кашляю. Нынче сыт, а завтра, может быть, придется с сумкой на паперть идти. Каково это на старости лет?

– Ну, мой двор стороной обходи. Лучше кобелю кусок брошу, он хоть тварь бессловесная, спасибо не скажет, а хвостом повиляет. Через вас, таких дуроломов, и на нас такая туга пришла...

Луговой еще что-то хотел сказать, но побелевшие губы его задрожали, он плюнул и, повернувшись, ушел.

Кто-то из стариков вздохнул.

– Батюшка нонче в проповеди справедливо разъяснил: «Труссы, и мятежи, и кровопролитные брани... На крови Кубань зачалась, на крови и скончается».

– Надо спасать революцию, а не Кубань. Останется жива революция, цела будет и Кубань.

– Ох, эта ваша революция... Переобует она казаков из сапог в лапти.

– Да, пойдет теперь кто туда, кто сюда... Сто лет будем враждовать и не разберемся.

– Неправда, – сказал Максим и снова развернул газету, – разберемся. Мы стали не такими темными, какими были в четырнадцатом году. Можем разобраться, где квас, где сусло, кто говорит красно, да мыслит черно...

Шакунов покосился на газету:

– Ты, солдат, ее спрячь и сегодня же представь атаману на рассмотрение. Нас, казаков, не переконовалишь на мужичий лад. На каждое твое слово у меня десять найдется. Мой сказ короток: шашка – казачья программа. Кулак мой – вам хозяин. Вот он, немоченый, десять фунтов. – Он воздел волосатый кулак и покрутил им над толпой.

Гвардеец Серега Остроухов сверкнул глазами:

– Ты, Леонтий Федорович, сперва отмой руки после девятьсот пятого года... Твои руки в крови!..

– Цыц, сукин сын! Всех вас, разбойников, лишим казачьего звания и наделов. Не допустим порушить порядок, который наши отцы и деды ставили. Не видать вам нашего покору, как свиные неба.

Остроухов схватил его за горло:

– Зараз глотку перерву...

Зашумели было, зарычали, но в эту минуту из правления на крыльцо в сопровождении станичного атамана и стариков вышел одетый в синюю черкеску гвардейского сукна член Кубанской рады Бантыш.

Площадь притихла.

Бантыш снял косматую папаху, поклонился и осипшим от многих речей голосом крикнул:

– Здорово, господа станичники!

Толпа качнулась и недружно, вразнобой ответила:

– Здравия желаем, ва-ва-ва...

– Гляди, какой бравый!

– Орел.

– Он человек приезжий, стравит нас, да и дальше, а нам расхлебывать, – робко заметил Сухобрус.

– Этот наговорит... – засмеялся казак Васянин. – Одному такому же усачу мы на Киевском вокзале добре мускула́правили.

– Тише, вы, горлохваты, слушайте оратора. Никакого соображения в людях нет. Ведь это вам не тюха-митюха и не кляп собачий, а его высокоблагородие господин полковник.

Бантыш по-атамански отставил ногу и заговорил:

– Достохвальные казаки! Настало время сказать: то ли мы будем служить панихиду по казачеству, то ли все, как один, гаркнем: «Есть еще порох в пороховницах! Еще крепка казацкая сила!» Был один Распутин, и то сколько горя причинил, а ныне вся Россия распутничает, и ее же сыны продают ее направо-налево: грабежи, убийства, партийная борьба, святых церковей разорение. Россия поскользнулась в крови и упала, пусть сама подымается, мы ее не толкали. Нам, кубанцам, потомкам славных запорожцев, надо подумать, как бы утвердить добрый порядок у себя дома. В Екатеринодаре заседает наша войсковая рада. Есть у нас, слава богу, и свое казачье войско. Будет и казна своя, и законы. Кубань сама себе барыня...

– Так, так, справедливо... – трясли бородами старики, а в углах площади уже снова разгорались споры.

Фронтовик Зырянов – глаза блестят, руками машет – кричал громко, ровно его окружали глухие:

– Тут тебе земля дворянская, тут – монастырская, тут – войсковая, а где ж наша, мужичья?

– Ваша в Рязанской губернии, там вам пуп резан, туда и валите новые порядки наводить.

– Я четыре раза ранен...

– Дураков и в церкви бьют.

– По-моему, надо порешить нам, фронтовикам, общим голосом – разделить паи по всем живым душам, и греха больше не будет.

– Меня, друг, с мужиком, с бабой да с малым дитем не равняй... Мы за Кубань кровью своей разливались, костями своими ее сеяли. У нас на кладбище одни женки да матери лежат, а казаки – кто на Кавказе сгинул, кто в чужих землях утратился. Мы службой обязаны.

– И мы службой обязаны.

– Погоди, кривой, дотявкаешься.

– Не грози...

– И другой глаз надо тебе выхлестнуть.

– Ты мне глаза не выковыривай, хочу дожить и посмотреть на погибель таких барбосов, как ты.

– Не доживешь.

– Доживу.

– Не доживешь.

– Доживу.

Казак кулаком опрокинул кривого и начал топтать его. Более спокойные растащили и развели драчунов.

Около правления, по предложению Бантыша, довыбирали члена рады. Дмитрий Чернояров, как того требовал обычай, отбрыкивался:

– Увольте, господа старики. Вы меня не знаете, не знаете, куда я вас поведу. Выбирайте коренного станичника.

– Мы тебя знаем, и батька, и деда твоего знаем, послужи.

– Не могу.

– Послужи, Дмитрий Михайлович.

А невдалеке молодой казак стоял ногами на седле и, картинно скрестив на груди руки, говорил речь:

– ...Мы не против рады, но с большевиками драться не хотим. Пускай рада сама себя защищает. Господа казаки, которые фронтовики! Пора нам опамятоваться, куда мы идем и за кем? Кресты и медали, награды и золотые грамоты, что нам, дуракам, навешивали на шею, тяжелее камней... Валили они нас царю под ноги...

– Не к делу, не к делу...

– Безотцовщина.

– Геть, чертяка!

– Остро говорит. Чей таков?

– Ванька Чернояров.

– Эге... Так и печет им в глаза, так и печет. Ну и бедовый, пес.

– ...Старики, до кой поры вы нас будете уговаривать и осаживать? Вы, верные слуги его императорского величества царя Палкина, привыкли протягивать руки за полтинниками, вам и жалко расставаться со старым режимом. Мы, ваши сыны и внуки, воевали, а вы на печках снохам фокусы показывали и блаженствовали... Через золотые погоны у меня сердце наядрило, как чирий! Не забудем, как они, эти полковники да генералы, над нами издевались! Сгорите вы вместе с ними! Долой! Долой! Долой!

– Геть!

– Плетюганов ему!

– Арестовать!

– Ура! Вра-а-а...

– Приступи! Хватай его!

Над головами стариков заколыхался целый лес палок.

Иван пал на седло

гикнул

и, сшибая конем неувертливых,

прорвался в улицу, поскакал в аул к Шалиму, только пыль за ним завилась.

Плескалась-звенела весна прибоем горячих дней.

Степь отряхнулась от снегов и, выкатив тугие черные груди курганов, покорно ждала пахаря.

Взыграла, разлилась Кубань-река. Налетели хлопотливые скворцы и жаворонки. Густой ветер наносил со степи волнующие запахи распаренной земли и первого полынка. Ночи – песня, визги да девичий смех – были темным-темнешеньки.

Станица поднялась.

По размокшим дорогам закрипели тяжелые мажары, одноконные роспуски и заложенные парами повозки. Солнце играло в синем просторе. Клубились, летели светлые облака, по взгоркам скользили жидкие тени. По обсохшим обочинам дорог, загнув хвост, скакали собаки. Далеко разносилось залиvistое ржание коней... Нет-нет да и переблеснет выслепленный зуб бороны, носок лемеха, сбруйная бляха. Оживленный говор, ликующие в румяных улыбках рожицы ребятишек, насунутые на нос от загара бабьи платки, хлопанье кнутов.

– Цоб... Цоб, цобе.

Максим нагнал пару чубарых волов.

– Со степью, кум.

– И вас также.

– Хороший денек, кто вчера умер – пожалеет... Где, Николай Трофимович, пахать думаешь?

– Э-э, провались оно совсем... – Кум Микола пробормотал что-то невнятное и принялся с ожесточением нахлестывать волов.

– А все-таки?

Кум долго сопел, что-то обмозговывая, потом внимательно оглядел Максима, коня, оковку наново перетянутых шин и, побрякивая, туго, через силу заговорил:

– Не придумая, как оно и повернется... Выглядел я тут себе добрую делянку пана полковника Олтаржевского. Да-а-а. Така панская земля жирная, что ее хоть на хлеб мажь да ешь... С осени посулили мы с Мирошкой пану задаток и подняли под зябь добрый клин... Сунуть ему в задаток грошей горсть совестно, а больших денег не случилось. – Он снова надолго замолчал и, еще раз недоверчиво покосившись на Максима, досказал: – А вот тебе – ни пана, ни Мирошки. Пан, слышно, в городе казачьим полком командует, а Мирошку дядька переманил в Ейск и всадил его, дуропляса, на свой свечной завод прикащиком...

– Ну?

– Вот и ну... Кто знает, как оно повернется? Тут тебе свобода, а тут вдруг восстанет против народа царь?

– Полудурок... Нашел над чем голову ломать? Езжай и паши.

– А полковник пан Олтаржевский? Ну-ка нагрянет? Ведь он меня немасленого, невареного съест. Такой усатый да крикливый. Сколько разов во сне, проклятый, снился, аж тебя затрясет всего и в холод кинет. Такой он, господь с ним...

– С него уж, поди-ка, с самого где-нибудь наши товарищи шкуру спустили...

– Дай бы господи.

– И велика делянка?

– Земли там уйма... Панской восемьсот десятин, войсковой сколько-то тысяч. Работай, не ленись.

– Та-а-ак, дядя лапоть, – протянул Максим. – А я за греблю думаю удариться... В Горькой балке, говорят, паев много гулящих лежит.

– И хочется тебе за десять верст лошадь гонять? – Кум Микола сдвинул шапку с запотевшего лба и, повременив, с важностью сказал: – Я тебе уважу, я такой человек, а для свояка хоть пополам, хоть надвое разорвусь... Лошаденка у тебя одна и прилад никудышный, а у меня все-таки пара волов, они, прокляты, тягущи... Гоняй со мной?.. Подыдем супрягой десятины по четыре и с лепешками будем. А?..

Максим пораздумал немного и чуть усмехнулся:

– Что ж, кум, за мной дело не станет.

– Ооо, и поедем... После рассчитаемся: ну, поставишь магарыч, ну и мне когда-нибудь добро сделаешь. Я такой человек, я... Ээх, шагай, чубарые.

Свернули на проселок.

Нагая степь.

По распаханым полосам катились черные земляные волны. Горячей силой весенних соков был напоен каждый ком земли. Важно расхаживал грач, кося умным глазом и выклеывая из борозды жирных червей. Свист суслика, крики погонных, неспешный шаг вола.

...Максим с кумом дали три больших круга и остановились покурить. Со стороны маячившего на возвышенном месте хутора подъехал верхом рыжеусый, в собачьем сбитом на затылок малахае.

– Вы чего? – спросил он.

– А ничего...

– Чью землю ковыряете?

– Богову.

– В нашем юрте боговой нет. То земля казачьего полковника Олтаржевского, а как он сам на службе померши, то земля стала нашей, казачьей. Запрягайте и ссыпайтесь отсюда, да не оглядывайтесь, коли живы быть хотите... – Сам говорит, а глазами, как шильями, колет.

– Господин любезный, мы за нее аренду платили.

– Я тебе покажу аренду, бесова душа... Я с тебя, бугай, собью рога... Всю степь заставлю рылом перепахать.

– А ну, заставь! – шагнул Максим навстречу.

Казак некоторое время молча постоял на меже и угнал к хутору. Однако скоро он вернулся уже в сопровождении еще пятерых и, наезжая на Максима конем, скомандовал:

– Поди прочь!

– Легче!

– Разнесу, косопузые! – И стегнул Максима плетью.

Максим схватил с повозки приготовленную оглоблю и, размахивая ею, пошел в атаку. Кум Микола бросился было бежать, голося:

– Ратуйте, православные!.. За наше добро да нас же по соплям бьют.

Но двое, догнав, начали поливать его плетями и скоро спустили с его плеч посеченную в ключья рубаху.

Отовсюду скакали верхами и бежали, на ходу сбрасывая кожухи и засучивая рукава.

– Бей!

– Злыдни!

– Заплюем, засморкаем!

Максим сдернул с коня за ногу рыжеусого и принялся топтать его коваными сапогами, а кум Микола сидел в промытой весенними дождями межевой канаве и, руками прикрывая глаза от плетей, хрипел:

– Не покорюсь!.. Не покорюсь!

Мужиков случилось больше. Казаки ускакали за подмогой.

В станице митинг, и митинг снова кончился побоищем, после которого в станичном правлении старики принялись пороть молодых казаков, а в доме Григорова далеко за полночь гудели голоса: в ту ночь в станице был создан ревком.

На пашню выехали вооруженные винтовками, бомбами, дробовиками – у кого что нашлось.

Черный погон

*В России революция,
вся-то Расеюшка
огнем взялась да кровью
подплыла.*

Офицер Корниловского полка Николай Кулагин вторую неделю лежал пластом. Под головой – вещевой мешок с наганом и бельем, под боком – винтовка. Укрыт он был волглой еще после фронта кавалерийской шинелью. Греться приходилось кипятком и – привитая армией иллюзия – куревом. Грязная, плохо отапливаемая палата была переполнена ранеными и обмороженными в последних боях за Новочеркасском. Из щелей непромазанных рам тянуло гнилой февральской сыростью. Койка Кулагина стояла у окна. Приподнявшись на локтях, он подолгу смотрел на улицу, потом откидывался на сбитую в блин соломенную подушку и в полузабытьи закрывал глаза. Вялые, в черных облупинах уши его были вздуты, а обмороженные, мокнущие под бинтом ноги воняли тошнотной вонью. Ломота в костях не давала покоя ни днем ни ночью.

Ростов доплясывал последние пляски. В городской думе кадеты, демократы и казацкие генералы договаривали последние речи. Вечерние улицы были полны офицерами, беззаботными чистяками и породистыми, благородных кровей, щеголихами. В ресторанах гуляли денежные воротилы и столичная знать. Меж ними шныряли политические деляги. Вертелись тут, козыряя громкими именами, и члены разогнанной Государственной думы, и разжалованные министры, и заправилы Временного правительства, и прославленные террористы, и сиятельные владыки разгромленных революцией департаментов, и мелкопоместные дворяне, и сановное духовенство, и шулера закрытых игорных притонов. Все они набежали на Дон после Октябрьского переворота, намереваясь отсидеться до поры до времени за казацкими пиками. Знатоки смрадных тайн охраны и провидцы чудес господних, умудренные в науках профессора и социалисты, до тонкости изучившие теории всяческих движений и брожений, наперебой предсказывали близкую и неизбежную гибель большевиков. На залитых вином столах писались декларации будущих правительств, вырабатывались грандиозные планы восстановления России, распределялись министерские портфели, заслуженные генералы получали назначения губернаторов в области, которые только еще намечались к очищению от мятежников. Тем временем не оправдавшие надежд казацкие полки расходились по хуторам и станицам; с севера – в грохоте пушек, в митинговых криках, с плясками и свистом – накатывались отряды фронтовиков, матросов и рабочие дружины. На веселящийся город напускалась гроза грозная.

Лазарет охраняли гимназисты под начальством дряхлого полковника. Старик, сменяя караулы, обходил палаты и разносил утешительные вести. Ему хотя и не верили, но прихода его ждали с нетерпением.

Однажды рано поутру лазаретники были разбужены пушечной пальбой. Кто поздравее, собрался было уже задавать лататы, когда в дверях появился полковник. Заложив руку за борт потертого мундира, он отдельно и торжественно произнес:

– Господа, это самое, поздравляю.

Тяжелораненые перестали стонать. Сосед Николая Кулагина, усатый фельдфебель Крылов, замер с недочищенным сапогом на одной руке и со щеткой в другой.

– Свежие новости, господа... На таганрогском и черкасском участках фронта красные разбиты, это самое, вдребезги. Да, вдребезги. Захвачены в плен два полка противника в полном составе...

Все поддались радостному настроению. Одни сели в постелях, другие спрыгнули с коек и окружили вестника:

– Точны ли сведения, господин полковник?

– Почему молчат газеты?

– Но... стрельба под самым городом?

– Экое дело стрельба, – хитро улыбнулся полковник. – Восстали, батенька мой, станции нижних округов и пробиваются на соединение с нашими частями... По городу дезертиров ловим, бандитов бьем, вот вам и стрельба, хе-хе... Верьте мне, старику, я, это самое, приукрашивать не стану. Да, не стану. – Шаркая стоптанными сапогами, он прошел в соседнюю палату.

– Ага! – заговорил, прыгая на костылях, подпоручик Лебедев. – А я что вчера говорил?

– Умерьте пыл, подпоручик, – угрюмо сказал нагонявший на всех уныние своей мрачностью жандармский ротмистр Топтыгин, – ликовать нам по меньшей мере преждевременно.

– Почему, позвольте узнать?

– Анархия, не забывайте, молодой человек, вовлекла в свой дьявольский круговорот миллионы потерявших человеческий образ людей, а идея национального освобождения, как бы она ни была прекрасна...

Лебедев, подхватив костыли, подсел к ротмистру и с жаром принялся развивать перед ним свои взгляды на спасение родины. Топтыгин слушал его, покручивая пушистый ус, и лишь изредка ввертывал краткие, полные житейской мудрости замечания, от которых палата покатывалась с хохоту.

За общим столом, отодвинув игральную доску, спорили заядлые шахматисты – пехотный прапорщик Сагайдаров и завитой, надушенный корнет Поплавский. Все уже знали, что прапорщик – убежденный эсер. Поплавский и играл-то с ним только потому, что не было другого партнера. Кроме того, ущемляя прапорщикье самолюбие, корнет развлекался. За неделю непрерывных сражений Сагайдаров не взял ни одной партии, хотя победа, как ему казалось, не раз клонилась на его сторону.

Поплавский, редко расставляя слова, безглаголиво говорил:

– Наша революция глубоко национальна хотя бы по одному тому, что ко всему мы приходим задним умом, да-с, задним умом... Большевизм необходимо было задушить в зародыше, и теперь русские корпуса маршировали бы через Германию, но – момент был упущен.

– Кем упущен? – спросил Сагайдаров, подаваясь вперед.

– Вами, разумеется... Пока ваш социалистический Бонапарт декламировал, большевизм распространился как зараза, фронт рухнул, мы дожили до позора, когда всякий негодяй, прикрываясь демагогическими лозунгами, считает законным свое шкурничество, когда...

– Поверьте, господа, оздоровление близко, – обращался прапорщик ко всей палате. – Даю честное слово. Я знаю, я верю в мудрую душу русского народа и в его светлый ум. Лучший отбор солдат будет с нами. Рабочий класс и трудовое крестьянство рано или поздно, но непременно, я подчеркиваю – непременно, откачнутся от большевиков... И наконец, не следует забывать носительницу лучших идеалов человечества – самоотверженную русскую интеллигенцию.

– Ох уж эти мне ваши интеллигенты, прапорщик, – ввязался в разговор ротмистр, – мало я их вешал.

– То есть, позвольте, как это вешал?

– Очень просто, сударь, за шею веревкой. – Ротмистр скрестил на увешанной медалями груди пухлые белые руки. – Где ваши земские деятели, защитники порядка и отечества? Куда подевались вольнодумствующие юристы и чиновники разных рангов? Стервецы! Вчера еще они пресмыкались перед престолом и в два горла жрали куски правительственного пирога,

вчера еще... – Махнул рукой и досказал: – Плохой у нас был император или хороший – история рассудит, но ни один сукин сын не поднял руки в его защиту, ровно все они родились революционерами.

– Извините, – сказал прапорщик, – это вопрос глубоко принципиальный. Всенародное Учредительное собрание...

– Очень хорошо, – перебил его ротмистр, – миллионы своих голосов вы подали за Учредительное собрание? Оно разогнано, черт побери! Почему же ваша самоотверженная интеллигенция и светлоумный народ безмолвствуют? Разве родина не в пасти сатаны? Разве не грозит нам большевицкое иго, еще более мрачное, чем татарщина? Грош цена и вам, и принципам вашим. Вы – пыль!

– Странные, однако, у вас понятия, честное слово...

– Все надоело, – зевнул Поплавский, – продолжать войну невыносимо. Россию может спасти чудо или хороший кнут. Вашей, прапорщик, народной мудрости пока хватает лишь на поджоги, разбой и разорение культурных очагов... Взять, к примеру, моего отца, – оживляясь, заговорил корнет. – Полный генерал, после японской войны вышел в отставку, спокойно доживал век в своем имении, и ничто, решительно ничто, кроме цветов, не интересовало старика... Но, голубчик, какие он разводил розы, скажу я вам, уму непостижимо. Шотландские махровые, мускусные светло-голубые, белые, как пена кипящего молока, черные, как черт знает что. О нашей оранжерее даже в заграничных журналах писали...

Усатый гимназист Патрикеев, обрадовавшись случаю блеснуть познаниями, крикнул из угла:

– Древний греческий поэт Анакреон сказал: «Розы – это радость и наслаждение богов и людей».

– Совершенно верно, – повернулся к гимназисту Поплавский и, не обращая внимания на то, что многие засмеялись, продолжал рассказывать о том, как мужики вырубали парк, разорили оранжерею и выгнали из родных палестин отца. – Скажите, кому мешали цветы? Я согласен с вами, ротмистр, лишь кнут и петля, как во времена Пугачева и Разина, способны унять разыгравшиеся страсти черни. Пусть с этим кнутом придут немцы, зуавы, кто угодно... Да-с, кто угодно.

– О нет, – подскочил Сагайдаров, заливаясь румянцем, – русский народ выстрадал свою свободу и никому ее не отдаст. На позоре военных неудач России не возродить. Немцы питают к нам не только культурное, но и расовое отвращение. К тому же, в случае бесславной сдачи, мы лишимся поддержки европейской и американской демократии. Кайзер заставит нас чистить ему сапоги, честное слово... Нет и нет! Во имя всего святого мы должны поднять меч, может быть, в последний раз!

– Чушь, – ответил корнет, – России нужна в крайнем случае конституционная монархия, а всю вашу азиатскую свободу смести к черту огнем и мечом.

– Ах так? Вы – русский офицер... Стыдитесь!

– Хватит. Надоело. – Корнет повернулся и, насвистывая, отошел к окну.

Поплавский среди разношерстной лазаретной публики чувствовал себя одиноким. Войну он прослужил в Персии при штабе экспедиционного корпуса. Революция забросила его в чужой город, где не было ни связей, ни пристанища. Не торопясь попасть на фронт гражданской войны, жалуясь на головные боли и на старые, где-то и когда-то полученные контузии, он кочевал из лазарета в лазарет.

С кем был Николай Кулагин?

Ротмистр в счет не шел. Некоторые мысли, высказанные Сагайдаровым, казались Николаю здравыми, но он не мог перебороть в себе неприязнь к прапорщику, дубоватое лицо которого было полно скрытого лукавства, а мигающие, в белых ресницах, глаза не смотрели на человека прямо. Возмущали наглый тон и беспринципность Поплавского. Николай

вообще недолго любил штабных ловчил. Разве можно было забыть Могилев... Пятнадцатый год, стоверстные позиции под Варшавой, окопы, доверху заваленные трупами... Лучшие кадровые корпуса гибнут в августовских лесах, под напором врага фронт трещит... С остатком полка он пробирается в тыл на переформирование и в Могилеве впервые видит офицеров большого штаба, затянутых в корсеты, накрашенных и завитых. И сейчас, глядя на холеное лицо корнета, он улавливал в нем какое-то сходство с теми могилевскими фазанами. Николай Кулагин, как и большинство кадровых офицеров, плохо разбирался в политике. Мысль о необходимости страшной войны, выведившей Россию на блистательный путь могущества, казалась бесспорной. Революция опрокинула если не все, то многие понятия об отечестве и долге. Из подброшенной ему в землянку газетки он вычитал, что солдатам война не нужна, а начальники являются врагами народа и защитниками интересов буржуазии и отрекшегося царя. Первая весна революции пролетела в угаре митинговщины и возрастающего озлобления. Вколотенная палками в спину безответного русского солдата дисциплина рухнула сразу. Командир не узнавал своего полка. После неудачи июньского наступления армия начала распыляться. Николай бежит в тыл и по дороге пристает к корпусу генерала Крымова, который продвигался на Петроград свергать Временное правительство. Но скоро, по ходу дела, корпусной застрелился, а офицеры, прибыв в Петроград, встали... на защиту Временного правительства от большевиков. Дни, прожитые в семье, промелькнули, как хороший сон: слезы, поцелуи, бесконечные расспросы. Буря – с грозой и ливнем! – разворачивалась вовсю. Кулагин участвует в обороне Владимирского юнкерского училища, потом мчится в Москву на защиту Кремля и после поражения с пушечным гулом в ушах скатывается на Дон...

– Черт побери, – сияя глазами, говорит шестнадцатилетний кадет Юрий Чернявский, – как я хотел бы сегодня же выздороветь, быть в походе со своим отрядом, а то проваляешься тут, ничего не увидишь, тем временем и война может закончиться... Господин капитан, – обращается он к Кулагину, – как, по-вашему, Пасху встречать будем дома?

– Да, да, Юрик, разговляться будем дома... Куличи пойдем святить, яиц крашенных нам с тобою надарят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.